

Сергей Гомонов

Горькая полынь

История одной картины



Сергей Гомонов

**Горькая полынь.
История одной картины**

«Издательские решения»

Гомонов С.

Горькая полынь. История одной картины / С. Гомонов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-836511-9

Конец XVI — начало XVII веков, раннее барокко в искусстве. Эртемиза, дочь и племянница художников из рода Ломи, караваджистов, мечтает об одном — достичь совершенства в ремесле, которому отец и дядя обучали ее с детства. Но однажды в жизнь ее врывается человек, исковеркавший ее судьбу. Выданная замуж почти насильно, вынужденная покинуть родной город. И вскоре полицейские службы Тосканы узнают о череде убийств. Почерк Шепчущего палача, как прозвали его сыскари, всегда узнаваем...

ISBN 978-5-44-836511-9

© Гомонов С.
© Издательские решения

Содержание

1 часть <i>Se son rose, fioriranno</i>	6
Глава первая	7
Глава вторая	12
Глава третья	16
Глава четвертая	22
Глава пятая	29
Глава шестая	34
Глава седьмая	38
Глава восьмая	42
Глава девятая	47
Глава десятая	51
Глава одиннадцатая	58
Глава двенадцатая	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Горькая полынь История одной картины Сергей Гомонов

© Сергей Гомонов, 2017

ISBN 978-5-4483-6511-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1 часть *Se son rose, fioriranno*

В путях томительной печали

Стремится вечно род людской

В недостижимые дали

К какой-то цели роковой.

И создает неумоимо

Судьба преграды перед ним,

И все далек от пилигрима

Его святой Ерусалим.

Федор Сологуб

Глава первая

Город мостов

Когда до казни остается какой-то жалкий час, весь мир сжимается до пяти шагов вдоль и двух поперек, теснясь в твоём последнем пристанище – камере для смертников. И хаос мыслей время от времени прерывается оглушительным грохотом шагов стражи, который потрясает твоё сведенное нутро ударами колоколов набата, но ты уже неспособен удержать бег времени и лихорадку воспоминаний.

Когда до казни остался час, бродяга Пепе по прозвищу Растяпа вдруг со всего размаха налетел на давно затерянное воспоминание о зле, содеянном по глупости два с лишком десятка лет назад...

...Промозглый северный ветер гнал свинцовые тучи с клочками вмерзшего в них января, и Венеция покаянно склоняла главы соборов к мутной поволоке льда на черной воде каналов.

Только-только отрастивший свои первые жидкие усики, Пепе шнырял по запутанным городским улочкам, потакая собственному сумасбродству, поскольку был разобижен на сородичей и решил во что бы то ни стало доказать им, что злобная старуха просто возводит на него напраслину, а сама с утра до ночи смолит свою вонючую трубку и неведь сколько времени не занимается даже гаданием.

Табор стоял в Кьоджи – местечке, словно нарочно созданном для тех, кто пожелал остаться в стороне от пристального внимания полиции и церковнослужителей. Уж как только ни лезли из кожи вон бродячие артисты, дабы завлечь на представления хоть какую-то публику, но все усилия уходили впустую. Ни глотатели огня, ни предсказатели, ни каучуковые акробаты с неутомимыми танцовщицами, ни иные цыганские чудодеи не интересовали нынче горожан. И если еще летом сюда не брезговали заглядывать даже замаскированные *nobili*¹, то ближе к холодам дорогу в Кьоджу забыли и *cittadini*², а за ними и чернь. Развлечения под открытым небом на сбивающем дух ветру были венецианцам не по нраву. То ли дело – концерты артистов капеллы при базилике Сан-Марко, устраиваемые в теплых дворцах зажиточных вельмож!

¹ *nobili* – благородные (аристократия)

² *cittadini* – полноправные граждане

Ради справедливости надо сказать, что Растяпа Пепе мог бы вывести из себя и праведника, если бы тот имел несчастье связаться с таким олухом, поэтому никто и не удивился воплям и брани старой доньи Росарии, которая в ярости чуть не переломила чубук своей любимой трубки о голову бедового племянника, а потом выгнала его вон из табора, веля не появляться на глаза во веки веков – что, впрочем, обычно означало пару дней. Потом она отходила, и все возвращалось на круги своя, без каких-то последствий для Растяпы. Но вместе с усиками у Пепе отросло и неоправданное самолюбие, подвигавшее его на дерзости и глупости, стократно превосходившие те, что он творил до теткиных выволочек.

Ноги перенесли изгнанника через очередной мост, и Пепе оказался в сестьере³ ди Сан-Поло, на другом берегу Гранд-канала. Не так давно возрожденный в камне мост Риальто соединял два самых старых района сердца Венеции⁴, и в иные дни на нем было не протолкнуться, однако сегодня здесь зябко жались к парпету лишь несколько попрошайек, да еще маленькая

группа гондольеров и водовозов громко спорила посреди моста, не обращая ни малейшего внимания на редких прохожих.

³ *сестьера* – венецианский район, исторических районов-сестьер в городе шесть

⁴ районы Сан-Поло и Сан-Марко, где находится знаменитый Дворец дождей

Пепе не раздумывал, что будет делать в Сан-Поло и зачем его сюда принесло, пока не остановился перед церковью, соседствующей с высоким, похожим на дворец деревянным зданием. Вокруг постройки был разбит маленький, обнесенный невысокой оградой сад.

Дыша паром в окоченелый кулак, Пепе огляделся. Он ведать не ведал, что это за дом, а вниманием его завладела привязанная к ветви молодой пинии ярко-лазурная колыбелька. Ветер неуверенно покачивал ее, запутываясь в плотных ветвях зарослей самшита и можжевельника, стеной отгораживавших сад от церковного двора.

Если бы в те минуты на улочке квартала появилась хоть одна живая душа, Растяпа не посмел бы воплотить свою шальную затею и убрался восвояси. Но, на беду, звезды встали так, что именно теперь улица словно вымерла, а горожане попрятались за ставнями в своих домах, не желая ничего видеть и слышать.

Перекинув тощее тело через низенький витой заборчик и кроясь в аккуратно выстриженных лабиринтах кустов, Пепе подбирался к колыбельке, словно лис к курятнику. И боязно ему было – ведь по природе своей Растяпа отличался трусостью, – но притом и азартно. Он не придумал еще, для чего собрался сотворить такой грех, но мысли его убежали вперед, сладким охотничьим инстинктом маня к назначенной цели. Недаром донья Росария всегда говорила, что глупость с жадностью были его близнецами и родились всего на минутку раньше своего непутевого брата.

Тепло завернутый в яркий шерстяной плед, в лазурной колыбельке безмятежно спал младенец полутора-двух лет от роду. Когда Пепе схватил его на руки, мальчонка лишь поморщил вздернутый нос, причмокнул губами и, устраиваясь поудобнее, поежился внутри свертка. Похититель вернулся по собственным следам, перемахнул на улицу, опрометью бросился в узкий проулок между домами и был таков.

Не прошло и двух часов, и вот донья Росария второй уже раз за нынешний день огласила яростными криками весь Кьоджи, призывая всевозможные проклятия на голову Растяпы. Проснувшийся голодный младенец вопил еще громче нее, и едва ли в преисподней отыскалось бы более кошмарное местечко, чем кибитка старой гадалки.

Мало того, что дурачина-брат и его жена закончили свои никчемные жизни на эшафоте по обвинению в бродяжничестве, оставив ей, Росарии, на воспитание – и за какие такие грехи?! – своего бездельника-сынка, так теперь этот неописуемый болван навлечет беду на всю общину, когда похищенного младенца начнет искать полиция.

Пепе пытался оправдываться, заикнулся на свою голову о требовании выкупа с родителей крохи, после чего Росария схватила свой костыль и гнала племянника по улице, покуда сама не запыхалась и не встала отдышаться, хватая сморщенным ртом ледяной воздух. Ребятишки табора хихикали, но взрослым было не до смеха, и бродячая труппа стала всерьез готовиться к отъезду из Кьоджи.

Тем временем старая гадалка распеленала похищенного мальчишку, и вот к его визгу снова добавились ее проклятия, потрясая скрипучую кибитку до самых осей колес. Опасаясь, как бы не хватил старуху удар, танцовщица Чиэрина сунулась к ним и в полутьме прокуреной берлоги увидела скорбно раскачивавшуюся на табурете Росарию, а из-за нее – задранные детские ножки, которые торчали из вороха белья, взбрыкивая в такт выкрикам столь пронзи-

тельным, что трудно было представить их автором двухлетнего малыша. Таких луженых глоток Чиэрина не встречала даже у взрослых певцов-горлохватов.

– Этот безмозглый ублюдок украл девчонку... Девчонку из nobili... – вдруг совершенно обреченно и тихо вымолвила Росария, а следом, раскурив потухшую трубку, добавила: – Пора убираться отсюда...

...Так Пепе, жить которому решением сурового английского суда, жестоко каравшего бродяг-цыган, оставалось каких-то без малого шестьдесят минут, и не узнал, чьей дочерью была украденная им в тот холодный январский вечер девчонка из района богатеев. Никто не выведal ее подлинного имени, и по велению суровой Росарии все с тех пор стали звать чужачку мальчишеским прозвищем, Дженнаро Эспозито – январским подкидышем. Растили и одевали ее как мальчика, обучали акробатическому искусству, как всех остальных цыганят табора, который с перепугу, собравшись в два дня, торопливо покинул тогда Венецию, чтобы уже не вернуться более в эти края. И до конца своей жизни не увидит бедняжка Дженнаро своей родины, обреченная ловко выделывать сальто и кульбиты на городских площадях ради пары мелких монет.

И уж конечно, Растяпа даже не догадывался, что творилось тем вечером в квартале Сан-Кассиано у деревянного дома, который местные величали дворцом Андреа Палладио – по имени его создателя из великой эпохи прошлого века. Последние годы здесь велись репетиции концертов оркестра капеллы Сан-Марко, и нынче музыканты готовили торжественное представление к празднику Пасхи. Молодой капельмейстер ди Бернарди жил неподалеку от Палладио, в доме большом, но опустевшем после смерти супруги, и все силы отдавал музыке и двухлетней Фиоренце, помогавшим хоть на какое-то время забывать об утрате. Год назад его жена, лучшая певица хора Сан-Марко, угасла от чахотки, оставив его вдовцом с маленькой дочерью на руках. Искать девочке мачеху Бернарди не спешил, он был с малышкой неразлучен: повсюду возил ее с собой в сопровождении слуги. Оркестрантам было в радость тетешкать любимицу и задаривать ее яркими разноцветными игрушками, умиляясь при звуках заливистого звонкого смеха, от которого расцветали лица даже самых угрюмых рабочих сцены. Во время дневного сна слуга, Антонио, выносил ее в нарядной колыбельке на свежий воздух в маленький сад у дворца Палладио, где она безмятежно спала несколько часов кряду и просыпалась неизменно в веселом состоянии духа.

Никто из музыкантов не думал о дурном, когда, проголодавшись, в тот день они по обыкновению отправляли слугу капельмейстера в ближайшую продуктовую лавку. Там он привычно заболтался с молоденькой дочерью пекаря, любившей построить глазки молодым кудрявым парням вроде него, и только мысль о Фиоренце, которая вот-вот проснется, вернула его в действительность. Схватив покупки, он выкатился наружу и, увешанный свертками, корзинками и коробками с головы до пят, лишь краем глаза взглянул в саду на голубенькую лодочку-колыбельку. Удовлетворенный увиденным – колыбелька все так же безмятежно покачивалась на ветке пинии, – Антонио взбежал по ступеням в дом и был встречен возбужденным гулом голосов обрадовавшихся оркестрантов.

– Маэстро, ваш слуга спас мне жизнь! – впиваясь зубами в лепешку с сыром, вскричал скрипач, а все музыканты издали громкий солидарный возглас, воздевая бокалы над головой. – Иначе вы скоро загнали бы нас, как лошадей!

Капельмейстер рассмеялся и ответил, что тогда лучше умирать сытыми, чем голодными.

– Антонио, – сказал он, обращаясь к слуге, – пора проведать Фиоренцу!

– Да, сер!

И Антонио выбежал, чтобы через минуту вернуться с безумными глазами и нечленораздельными воплями. Покуда музыканты добивались от него связной речи, Бернарди первым выскочил в сад, к пустой колыбели дочери. Все ринулись на его поиски, когда Антонио все же

рассказал о чудовищном несчастье, но нашли не сразу. Кто-то здравомыслящий предложил идти в полицию и оказался прав: маэстро был в участке.

Больной, бледнее своей сорочки, не похожий на самого себя, он сидел перед начальником полицейских и, пытаясь собрать остатки воли в кулак, чтобы отвечать на вопросы, лишь безнадежнее терял самообладание. Он мял пальцами короткую бородку, трясущейся рукой отбрасывал от лица длинные темные волосы, прежде волнами падавшие на плечи, а теперь взлохмаченные и неопрятные. Все, что говорил ему полицейский, казалось Бернарди напрасной потерей времени, которое вместо этого нужно было тратить на поиски.

Свои показания дали и музыканты, и Антонио, но ни их участие, ни дальнейшие действия сыскарей не возымели успеха.

Совсем недавно снявший траур по жене и впервые за долгие месяцы вспомнивший, что такое смех, капельмейстер после исчезновения маленькой Фиоренцы стал серой тенью. Сначала он еще бегал по городу, расспрашивая каждого встречного – даже музыкантов и ростовщиков Гетто Нуово, сначала загорался надеждой, когда кто-нибудь по нечаянной ошибке направлял его в какой-нибудь дом, где он, являясь по адресу, тут же и угасал под сочувственными взглядами родителей других маленьких девочек, которые счастливо вырастут в собственных семьях и никогда не будут украдены неведомым злодеем. Но с каждым днем силы Бернарди утекали, он едва поднимался после коротких минут прерывистого лихорадочного сна, одолевавшего под утро как итог полной ужасов ночи, с трудом волочил ноги на поиски, чтобы глубоким вечером приползти обратно и, не меняя одежды, рухнуть на неразобранную кровать.

И однажды начальник полиции сказал ему так, стараясь не смотреть в глаза:

– Боюсь, синьор капельмейстер, что шансы найти вашу дочь теперь ничтожно малы. К несчастью, следов было немного, свидетели отсутствуют, а времени прошло предостаточно. Если бы похитители хотели от вас выкупа, они давно предъявили бы свои требования. Это совершенно непонятный случай, сер Бернарди, и, увы, мне нечем вас утешить...

Напоследок он развел руками, признавая полное бессилие своих сыскарей и очень жалея молодого композитора, которого помнил красавцем и весельчаком, на ходу сочинявшим как задорные мелодии в стиле народных пьесок для ярмарочных площадей, так и томные арии об античных героях, которые подвигами и пением сразу же завоевывали сердца роскошных матрон. Теперь Бернарди был близок к помешательству.

Друзья не могли помочь – он отворачивался, понимая, что их утешительные речи не в состоянии вернуть ему утраченный смысл жизни, сгинувший вместе с кудрявым синеглазым сокровищем, так похожим на бедную Лучиану. В базилике Сан-Марко искали другого капельмейстера, поскольку жизнь непреклонно шла своим чередом, а время весеннего праздника приближалось.

И однажды, когда холода надежно отступили перед оттепелью и смелеющими лучами солнца, в церковь Сан-Поло, что стояла по соседству с дворцом Палладио, наведлся нотариус, сер Гаспаро Валенси, объявив ее настоятелю последнюю волю маэстро ди Бернарди. Все сбережения его семьи, а также дом переходили в собственность прихода, с тем чтобы девяносто процентов средств были истрачены на содержание сирот и детей бедняков, а жилище перестроено в приют для неимущих.

– Что же случилось с самим синьором музыкантом? – горестным шепотом осведомился настоятель, однако сер Валенси того не ведал и лишь удрученно пожал плечами, после чего собеседники, вздохнув, перекрестились.

Поговаривали, будто на верфи у самой кромки воды был найден чей-то плащ, который, как уверяли городские сплетники, многие видели прежде на плечах исчезнувшего капельмейстера. Не забывали они также добавить, что плащ-де был опознан друзьями бедняги-Бернарди. Но официальные власти эти слухи не подтверждали, и вскоре талантливый музыкант, одномо-

ментно превратившийся в городского сумасшедшего без фортуны и судьбы, был забыт за бременной суетой повседневности.

Глава вторая

Наследница художника

Эта девочка рассмешила своего дядю задолго до того, как вымолвила первое в жизни слово. Аурелио Ломи весело хохотал, похлопывая то себя по ляжке, то кузена по плечу и повторяя: «Ох, Горацио, я даже совсем не удивлен, ведь такое вполне в твоём духе – назвать своего первенца именем придорожного сорняка!» А будущая Эртемиза Ломи, еще не окрещенный ребенок тридцатилетнего художника и его юной супруги, Пруденции, спала себе на полных белых руках матери, даже не ведая о предстоящем таинстве, ради которого их дом сейчас встал вверх дном, суетливо готовя главных героев к поездке в собор. Она спала и видела бесконечные смутные сны из неведомого бытия, еще не различая грезы и явь.

Со временем Аурелио по привычке к странному имени любимой племянницы. Вернувшись из Генуи, где несколько лет проработал при орактории Св. Иакова, в том числе над полотном из цикла о житии праведника, он смеялся уже не над именем, больше напоминающем прозвище, а над мальчишескими выходками маленькой Эртемизы. Шутки ради Аурелио однажды поставил ее, четырехлетнюю, к своему мольберту, и тогда ему стало ясно, что судьба допустила роковую ошибку, наградив таким талантом и неукротимым любопытством творение Господне в теле девчонки. Ведь где это видано, чтобы женщины занимались художественным ремеслом?

Отныне Эртемизу нельзя было оторвать от рисования, а бралась она за все подряд, по-детски неловко, но упрямо, и, что изумительно – всегда точно схватывала и переносила на бумагу позу движущихся моделей. Она могла часами сидеть в поле, не мешая сну ленивой няньки и наблюдая за пасущимися лошадьми. Особый восторг вызывали у нее появления погонщика, который, щелкая бичом направо-налево, заставлял животных сбиваться в визжащий, возмущенно храпящий, лежащий табун. Они трясли чубами и гривами, переливаясь мышцами на закатном солнце, а Эртемиза выхватывала из кармана льняного передника уголек – и вот отец в задумчивости разглядывает ее каракули, смешные, но удивительно правдоподобные: все было точно в ее рисунках, и поворот лошадиных голов, и постановка их бегущих ног, и наклоны корпуса в запале скачки. Покрутив усы, Горацио решился. Он велел ей выйти в сад и там, в розарии, сделать наброски нескольких бутонов:

– Один должен быть только-только распускающимся, второй явить себя во всей красе, а третий – увядающим.

Девочка покорно кивнула и, проведя битый час у клумб с розами, принесла обратно чистую бумагу.

– Что же ты, бамбина?! – удивился отец, глядя в ее дикие золотисто-карие глаза, на бархате которых нежилась последний луч уходящего светила. Он словно бы впервые увидел ее такой, прежде Эртемиза казалась ему черноокой и вполне обычной, хоть и милой девочкой, мало чем отличающейся личиком от сверстниц.

И в ответ она с совершеннейшей наивностью призналась:

– Мне скучно рисовать их. Я не умею такое, папа.

Эртемиза была странной в разуме каждого, кто вдруг присматривался к ней получше, ведь будучи в отдалении, она умело пряталась среди других детей, не выдавая себя ничем. Это была неосознанная мера, житейская тактика, помогающая скрывать от подозрительных взрослых свои маленькие, но отнюдь не безобидные секреты, речь о которых еще пойдет впереди. И никто – ни один знакомый семейства Ломи – всерьез не верил, что старшая дочь Горацио и Пруденции станет продолжать отцовское ремесло. Многие при этом прямо во время званных ужинов, иссякнув в застольных тостах, начинали советовать художнику нанять ту или иную няню, известную им своим благочестивым нравом, которая силою воспитания отвадит дитя от нелепых помыслов, тем паче многие не видели особенной разницы между «измазыванием

полотен краской» и свойственной любой приличной женщине тягой к богоугодному вышиванию либо иному рукоделию. «Кроме того, у тебя уже есть кому наследовать твой дар, дружище!» – убеждали синьора Ломи, подразумевая родившихся у него после Эртемизы сыновей.

Но ни у кого из ее младших братьев не было таких пытливых громадных глаз с утонувшей на дне бархатных зрачков безуминкой. Ни один не умел так надолго замирать, поглощенный созерцанием жука или гусеницы, спешащих по каким-то своим насекомым промыслам. А Эртемиза любила разглядывать в зеркало свое лицо, всегда удивляясь тому, как эти два меняющие тон и цвет в зависимости от освещения кружочка на глянцевого глазом яблоке способны видеть столько бесчисленных подробностей в этом мире. От черного провала в центре каждого лучиками расходились какие-то полосы, разделяющие радужку на множество сегментов, словно бы высланных по дну мягкой материей цвета непостоянного гессонита. Поверх этой материи был нанесен легкий узор, похожий на гравировку, с более темными или, напротив, более светлыми вкраплениями – он окружал пульсирующий черный зрачок неровным венцом, напоминающим солнечную корону, как ее любили изображать мастера прошлых веков. Сверху на глаз падала тень от густых черных ресниц, и чтобы разглядеть эту его часть, Эртемизе приходилось пошире раскрывать веки. Голубоватая белизна непрозрачного, будто бы фарфорового яблока, сочетаясь с теплом и многослойностью радужки, создавала красивый контраст, который так хотелось нарисовать и который никак ей не давался. Глаза получались неживыми – то ли дело у людей на картинах отца! И она решила оставить себя в покое, направив свое внимание на других. Спрятавшись за старым буфетом, она с закушенной от увлеченности нижней губой исподтишка наблюдала за кухаркой. Цепкая память ловила в свои сети каждое движение грубых, оплетенных венами рук, мимику красного от вечного жара печи простецкого лица, взгляд усталых глаз. Но, исполненные на бумаге, глаза теряли свою живость и пропадали. Однако дяде Аурелио было достаточно и точных поз людей: он хохотал теперь уже над персонажами ее набросков.

– Гляди-ка, братец, каким-то чудом твоя дочь ухватила рисовательную повадку Меризи! Посмотри на их лица, а ведь она еще совершеннейший ребенок! Что ж, если это роза, она расцветет!

И Горацио Ломи с недоумением разглядывал гротескные, на грани с уродством, лица, узнавая в них не просто каких-то там условных людей, а тех, кого он хорошо знал в действительности и чьи характеры теперь, будто у купальщиков, снявших одежду, представляли на рисунках дочери нагими и неприкрашенными.

– Ну, так нельзя! – воспротивился он тогда. – Уж лучше бы она рисовала лошадей или, вон, муравьев!

К своей досаде, Горацио понимал, что если не льстить заказчику и не соответствовать велению моды, тебе не стать успешным, а к тому времени он уже смирился с мыслью, что дочь, если с возрастом не изменит своему пристрастию, станет продолжательницей его дела.

И это он еще не знал многих вещей и событий из тайной жизни своей любимой «бамбины». Расскажи она кое-что о том, что видела с младенчества и – уже не столь часто – по сей день, родители переполошились бы не на шутку, но, к счастью, Эртемизе хватало ума молчать об этом, не доверяясь даже молоденькой нянюшке, а уж что говорить о вечно хлопочущей о младших детях и вечно беременной матери, которая вообще не понимала и не разделяла увлечений старшей дочери.

Кто-то спросит, откуда такая маленькая девочка могла бы узнать о реликвии, которую называла про себя «щитом мессера да Винчи». О самом мессере в их семействе говорили нередко и с должной степенью благоговения, но история магического щита, изготовленного художником в ранней юности, можно побиться об заклад, была неизвестна даже братьям Ломи, не говоря уже обо всех остальных домочадцах. И, тем более, она никогда не видела таинственных персонажей картин ван Акена, чтобы встречи с ними можно было причислить к шаль-

ной детской фантазии, а ведь именно эти страхолюды, как сказала бы о них кухарка Бонфилия, и нашептывали Эртемизе сказки о волшебном творении Леонардо, обладатель которого может стать гениальным художником. Вот разве что щит Медузы сам выберет хозяина: его нельзя купить, получить в подарок или найти как клад, он невидим для недостойных в точности так же, как невидимы другим и малорослые гости, навещающие к дочери Горацио с самого нежного возраста. Понимая, что рисование все больше затягивает ее, Эртемиза бредила этим щитом так, как все обычные девочки ее возраста обычно бредят какими-нибудь потрясающими игрушками, увиденными на рыночной площади у торговцев мелочами.

Да, «страхолюды» окружали старшую дочь четы Ломи с колыбели. Она помнила миг своего рождения и знала, что они стояли и сидели повсюду в комнате, словно стервятники, ожидающие, когда жертва обессилеет и оставит им свою плоть. Эртемиза чувствовала их присутствие и внимание, а когда увидела, уже учась ходить и говорить, то сразу узнала. Они дразнили ее и в отсутствие взрослых пытались напугать, запутать, обмануть, пряча игрушки или корча жуткие рожи. Были среди этих карликов и зверолюди, и просто уродцы, и прямоходящие бестии, все они умели говорить – шептать, а потом тоненько издевательски хихикать. Но она не боялась их, скорее стеснялась, ей просто не нравился туман, в который погружалась голова, а маленькие мысли застревали в чем-то вязком и противном. Когда «страхолюды» пропадали, Эртемиза снова начинала соображать, как прежде, многое, что случалось во время этих визитов, забывая. А они были мастерами морочить голову! Много раз она видела своих родителей очень странными, будто разделенными пополам: туловище до пояса сидит в одной части комнаты, а ниже пояса – в противоположной. Так забавлялись ее гости, заливаясь визгливым смехом, когда удивленная, но не напуганная девочка пыталась предупредить отца или мать о том, что с ними происходит.

Чем старше становилась Эртемиза, тем реже приходили к ней «страхолюды» и тем меньшим количеством они вторгались в ее комнату. Теперь они возникали по двое или по трое, не больше, но всегда менялись и относились к ней уже с каким-то подобием уважения. А когда она стала рисовать, кто-то из них и затеял этот нескончаемый рассказ о другом мире и о том, как мастер Леонардо сумел вытащить оттуда магические знания, благодаря чему еще в пятнадцать лет создал щит Медузы, который с тех пор менял хозяев, и все они были художниками. Последним владельцем щита, если «страхолюды» не ввали, был Меризи Караваджо, кумир ее отца. И они говорили, настаивали, убеждали, что следующим обладателем реликвии надлежит стать ей, дочери римского художника, но вместе со щитом для соблюдения равновесия получить и трудную долю, в течение всей жизни выплачивая кредит за бесценное обретение. Эртемиза была согласна, слишком уж сладкие песни мурлыкали эти потусторонние соблазнитель. «Он сам отдаст его, жди!» – пророчили они, и юная синьорина Ломи всерьез готовилась к приезду в их дом мастера Караваджо.

По нелепому стечению обстоятельств, вместо него к ним вдруг нагрянула старая тетушка со стороны отца и отцова кузена, женщина предельно религиозная, всегда с поджатыми, и без того тонкими губами и ищущим изъяны взглядом. Она сразу сказала, что восьмилетняя Эртемиза одержима бесами, и ей надо не рисовать этих страшных людей с такими же дикими глазами, как у нее самой, а учиться в каком-нибудь монастыре под надзором строгих настоятельниц, что, безусловно, девочке не понравилось, а «страхолюдам» дало повод советовать ей всякие непристойности в отношении отцовой тетки. Предлагаемые ими выходки и смешили Эртемизу, и злили, поскольку поступить так, как ей нашептывали эти мерзавцы, она не могла, ведь в противном случае это стало бы лишним поводом для старой ханжи говорить о ее бесноватости, а для отца – подчиниться наставлениям и на несколько лет отправить дочь в монастырь, как было принято поступать в почтенных семействах. Она и вообразить не могла, сколько ее сверстниц провело лучшие годы детства в каменных застенках, где склонность к рисованию не одобрила бы ни одна монахиня.

Дядю Эртемизы донья Чентилецки считала распутником и всячески выказывала свое неодобрение его присутствия. Именно поэтому Аурелио теперь старался реже бывать в доме брата и поддался уговорам племянницы переговорить с Горацио, дабы тот позволил дочке гостить у кузена, который в своей студии продолжал бы спокойно обучать ее мастерству – «подальше от сумасшедших фанатичек». Горацио не стал возражать, лишь Пруденция была недовольна исчезновением помощниц по хозяйству, ведь кроме дочери, помогавшей управляться с младшими детьми, приходилось отпускать с Эртемизой и ее няню, которая хоть и не отличалась большим умом и рвением к работе, но лишней в доме не была.

Глава третья

Золотой конь

Когда бедная тетя Орсола увидела племянницу, то воззвала к Мадонне и долго причитала от жалости к ее худобе. Дядюшкина жена и сама могла похвастать телесной пышностью, и обе их дочери, четырнадцатилетние близнецы – Мичелина и Селия, были девушками дородными, отчего в сторону семейства Ломи уже поглядывали женихи, полагая, что по возрасту синьорины готовы к замужеству.

– Мамма Мия, дорогая моя, неужели тебя не кормят?! – приговаривала Орсола Ломи во время каждого приема пищи, будь то завтрак, обед или ужин, и старалась, чтобы тарелка Эртемизы наполнялась до краев. – Разве пристало девочке быть такой худосочной? Я даже напугалась, не больна ли ты, детка! Кушай, кушай, уж я сделаю из тебя красавицу, и твои непутевые родители ахнут, когда ты вернешься домой!

Едва осилив половину порции, девочка молитвенно смотрела на дядю, и Аурелио, уловив момент, менялся с ней приборами, очень веселя тем самым двойняшек, которые, хихикая и перешептываясь, с любопытством следили за их возней под скатертью. Не понимая причин оживления, синьора Ломи хмурилась и предупредительно барабанила красивыми полными пальцами по столу. Но никто не воспринимал ее притворных строгостей всерьез, ведь даже дети самых непутевых слуг знали о добром нраве доньи Орсолы.

Для кузин Эртемиза была еще слишком мала, и посему подругами они не стали. Селия и Мичелина любили наряжать сестренку, будто живую куклу, делать ей всевозможные прически, но когда она им надоедала, девочки со скучающим видом отворачивались и уходили по своим делам.

В дом дядюшки «страхолюды» не наведывались, благодаря чему Эртемиза совсем отвыкла от их коварного шепотка, хотя про обещание подарка от мессера Караваджо не забыла. Если бы не гастрономическая экспансия тети Орсолы, то эти несколько месяцев жизни девочка могла бы назвать самыми безоблачными: она все так же училась живописи в мастерской художника, только теперь преподавателем был не отец, а его кузен; все так же подглядывала за людьми, тем паче что все они здесь были ей в новинку, а оттого стократ интереснее; все так же гуляла с любящей поспать нянькой, которая нисколько не мешала ей разглядывать всевозможные творения и явления природы – от букашек до облаков. Только одной вещи никогда не было в родном доме Эртемизы – визитов дядиных старых друзей, генерала и графа. И хотя пожилой венецианец Доменико Перруччи ушел в отставку, не дослужившись даже до полковника, в воображении девочки он был генералом, генералом и ни кем еще, кроме генерала. А вот граф Валиннарo был самым настоящим графом, к тому же, по словам доньи Орсолы, отчаянным мотом и знатным лошадником, которого спасало от разорения только немыслимо огромное наследство, не иссякающее при всех его стараниях в деле расточения денег.

Заправившись дарами дядюшкиных винных погребов – к слову, весьма щедрых, – седой и громогласный «генерал» начинал поминать былое, с языка его нередко срывались казарменные словечки, а более всего он сыпал проклятиями в адрес тех, из-за кого «просрали Кипр чертовым туркам»:

– Пусть горит в аду Николо Дандоло! Кровь павших в Никосии навсегда останется на его сальной роже! – рычал Перруччи, стуча кулаком по креслу.

– Доменико, не горячись! – увещевал его Аурелио, но после стольких опрокинутых бокалов это было безнадёжной комиссией. Оставалось лишь надеяться, что перепёлки, на которых всегда налегал венецианец, и на сей раз будут достаточно прожарены, но не пережарены: только это могло смягчить благородную ярость старого патриота.

Эртемиза тихо хихикала и, прячась от дяди, который как пить дать велел бы ей идти на прогулку вместо того чтобы слушать брань хмельного вояки, сползала под стол, где опиралась спиной на одну из дубовых ножек и слушала исповедь синьора Перруччи до самого конца. И пока она в полутьме под скатертью чертила на серой бумаге большого неуклюжего медведя в феске, с досадой отмахивавшегося лапой от назойливой венецианской осы, перед глазами ее восставали картины тех давних баталий.

Сорок пять дней преисподней – и Никосия пала под османскими пушечными ядрами и ятаганами, один из которых снес голову командующему обороной острова, тому самому Дандоло. Выложив ее в чашу для пушечного утешения, Лала Мустафа-паша отправил своего гонца к последней сопротивлявшейся венецианской крепости. Это была Фамагуста, где нес службу в гарнизоне синьор Перруччи.

– Пусть покоятся с миром души героев, Брагадина и Бальони! – восклицал «генерал» и, расплескивая, вскидывал свой бокал, будто саблю. – Уж они не были слабаками, как предатель Дандоло!

Командиры Маркантонио Брагадин и Асторре Бальони отказались сдавать Фамагусту, и янычары начали долгую, изматывающую обитателей крепости осаду.

Объединенный христианский флот, выдвинувшийся было на подмогу киприотам, повернул вспять, едва узнав о падении Никосии. Мощная армада трусливо ретировалась, побоявшись даже показаться на глаза грозному противнику. Фамагуста держалась до последнего, в городе начался голод, болезни уносили одну жизнь за другой, и первыми гибли дети.

– Мы едва таскали ноги. Оружие становилось для нас неподъемным, но мы все равно отбивались от этих нечестивцев. Проклятые магометане штурмовали нас почти целый год, и мы сражались! Вечная память нашим командирам!

Близился август, Бальони и Брагадин поняли, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, подмоги от испанцев и венецианцев они не дождутся, а город просто вымрет. Чтобы спасти от резни хотя бы остатки выжившего населения, командиры приказали поднять белый флаг для начала переговоров. Так пал юго-восток на милость чужакам, которые первыми же нарушили условия мира, обещающие всем тем жителям крепости, кто только пожелает, под развевающимися венецианскими знаменами покинуть Кипр и перебраться на Крит: на переговорах паша и Брагадина началась резня христиан. Погибли почти все, кто не успел уехать на свободный остров: их отсеченные головы свалили в кучу перед палаткой Лала Мустафы в оскверненной Фамагусте.

Тяжелораненый Доменико Перруччи выжил лишь благодаря одной семье из Фамагусты.

– Бернарди! До сих пор помню эту фамилию! Он венецианец, она с Изумрудного острова, глаза – вот такие! Ах, какие бездонные кельтские глаза! Только они на лице и оставались, ее саму шатало ветром, щеки запали, в чем душа, что называется!.. Из всех их детей – последняя девочка с ними, да и та, бедняжка, уже при смерти. А у этой Фиоренцы еще были силы выживать меня. Сама еще девчонка, высохла с голоду, как щепка, а силищи-то сколько в ней оказалось, сколько силы духа! Если бы не они, не Бернарди эти, не сидеть бы нам сейчас с тобой за одним столом, Аурелио...

– Фиоренцы? В прошлый раз ты звал ее как-то... Фри... Фли...

– Флидас, – согласно кивал «генерал». – По-нашему ее звали Фиоренца, а так – Флидас. Так к ней, по-ихнему, старуха обращалась, мать или бабка, уж не вспомню. Глазищи – вот! С ума сойти от таких, утонуть к чертовой матери!

А под столом на серой бумаге проступал образ, нарисованный детской рукой, наивный и возвышенный одновременно. Несколько дней Эртемизе нравилось то, что получилось: при каждом удобном случае она вынимала свой набросок и любовалась им. Но очарование рассеивалось подобно тому, как выдувает ветер песок из скалистого утеса, и в один не слишком

прекрасный день все недостатки работы проступали перед нею с безжалостной очевидностью. Она видела тогда и нарушения пропорций, и неправильную тень, и неточные линии.

– О чем грустишь? – дядя лучше кого бы то ни было чувствовал ее настроение.

Вместо ответа, надувшись и нахохлившись, не глядя в глаза, Эртемиза протянула ему рисунок. Дядя похмыкал, почесал бородку, сощурился, то поднося бумагу ближе к глазам, то отодвигая на вытянутой руке.

– Пойди сюда, детка.

И когда детка с хмурым и трагическим видом подошла, Аурелио повернул ее к зеркалу:

– Смотри сюда, если хочешь, чтобы портрет был точным. Нет, не сюда, не на себя, – он аккуратно взял ее пальцами за маленький подбородок и повернул голову девочки в сторону зеркального отражения наброска. – Сюда. Ты видишь, здесь он кривее, чем если смотришь на него без зеркала? – Эртемиза кивнула. – Зеркало обладает бесценными и чудесными свойствами, когда ты имеешь дело с рисованием. Доверяй ему, но только в этом. Только в этом! – он отбросил бумагу. – Миза, отец учил тебя грунтовке холста? Нет? Идем, я собираюсь заняться этим, и поскольку уж ты здесь, самое время познакомить тебя с синьорами Проклейкой и Грунтом.

Она думала, что это будет неимоверно скучно. Когда свои лекции затевал отец, ей хотелось только одного – чтобы он отвернулся, а она могла бы положить голову на руки и поспать. Аурелио Ломи рассказывал так, что не терпелось сразу же попробовать сделать то, о чем он толковал. Дядя пользовался рыбьим клеем, поскольку тот был почти бесцветен на холсте и давал в результате нежухнувший плотный грунт, и клей этот он варил сам, поэтому в мастерской нынче стояла жуткая вонь рыбьей требухи – для изготовления качественного вещества был необходим плавательный пузырь благородной рыбы вроде осетра, белуги или сома.

– Начинаем? – спросила Эртемиза, подходя к причудливому котлу с закрученной змеею трубкой под его днищем.

– Но ты запомнила главное?

– Да, надо обязательно добавить буру, чтобы клей не гнил.

Аурелио засмеялся:

– Да нет же! Главное – не забыть загодя засолить эти пузыри в тулузке! Но сейчас мы возьмем уже готовые, ведь не будем же мы дожидаться три дня, когда просолятся эти!

И Эртемиза не заметила, как пролетело полдня. Они кудесничали над чанами, переговариваясь и смеясь, не замечая ни времени, ни усталости. Ей казалось, что теперь-то она знает все в этом деле, и гордость мастера, умудренного опытом, распирала грудь. А потом дядя смотрел на результат, качал головой – и у юного подмастерья от обиды тряслись губы. Утерев кулаком нос и подавив жгучие слезы обиды, она снова становилась к котлу доделывать то, что упустила или не заметила.

– Ты еще не передумала заниматься живописью? – с хитрецей во взоре спросил он, когда решил, что на сегодня хватит. – Нет? Ну, тогда нам обоим нужно переодеться, только поспеши: сейчас мы отправляемся к графу Валиннaro. Миза?!

Поскакавшая вприпрыжку к лестнице, после окрика дяди Эртемиза круто остановилась, а синьор Ломи со смехом добавил:

– Тише, не упади! Ты, главное, не попадайся сейчас на глаза тетушке, она страсть до чего не переносит рыбного зловония! Рассердится и не отпустит тебя со мной, она у нас строгая!

Через час они уже подъезжали к имению Валиннaro, и встречающим их слугам Аурелио велел выгрузить из кареты его художественные принадлежности, а после отнести всё к леваде. Эртемиза взяла его за руку и, подняв голову, заглянула в лицо:

– Что вы собираетесь делать, дядя?

– Это заказ графа. Сейчас увидишь. Думаю, тебе это будет полезно, бамбина.

Едва он сказал это, из окна усадьбы донесся голос графа:

– А, друг мой, вы уже прибыли! Я тотчас же спускаюсь к вам! Клементе, вели, пусть ведут!

Слуга – по видимому, тот самый Клементе, к которому обращался Валиннaro – махнул рукой в сторону конюшен. Аурелио продолжил свой путь, ведя племянницу к леваде за домом. Эртемиза озиралась вокруг, удивляясь роскоши графского парка: здесь был пруд с перекинутым через него мостиком, витиеватые перила которого сияли золотом; в пруду плавали какие-то чудные пестрые утки, с хохолками и без, похожие на игрушки; дом окружали фонтаны и ровно выстриженные кусты самшита, обрамлявшего газоны и цветочные клумбы; были здесь и искусственные скалы с гротами, и самодельные водопадики, а над бегущим ручейком склонялись плакучие ивы.

Послышался звонкий цокот подков. То по вымощенной камнем дорожке слуга-конюх вел скакуна, каких Эртемиза не видывала отродясь.

Привычная к тяжелым мускулистым коням, в былые времена выведенным для того, чтобы таскать на себе большой груз, чаще всего являвшийся закованным в латы всадником, девочка, зачарованная, уставилась на это божье творение.

Тонконогий, как жеребенок, поджарый, точно гончий пес, змеей выгибая грациозную длинную шею и потряхивая шелковой каштановой гривой, едва касаясь копытами земли, за конюхом шел золотой скакун. Да-да, нежная, вычищенная до блеска, тонкая и очень короткая его шерсть переливалась на каждой мышце и горела под лучами солнца, как если бы коня облили сусальным златом. И только хвост, грива и две передние ноги плавно меняли цвет, переходя в каштановый, а маленькие копыта ниже темных «перчаток» оставались золотистыми. Он диковато покосился на Эртемизу громадным аквамариновым глазом с большим поперечным черным зрачком в центре радужки, и ей показалось, что конь чему-то удивляется. Она слегка помахала ему рукой, но конюх уже провел его в леваду и, сняв узду, вспугнул ею жеребца. Вскрапывая, красавец взвился на дыбы, распустил хвост штандартом и, отшатнувшись, отбежал в сторону. Девочка вцепилась в доски ограждения: да он же попросту играет! Он не боится их, а развлекается и поддразнивает. Вон как гарцует теперь, наслаждаясь каждым движением гибкого тела, а сухощавые ноги, отталкиваясь от земли, всякий раз выгибались, почти касаясь бабками песка.

– Знает, негодяй, что дьявольски красив! – с удовольствием сказал дядя, тоже не в силах отвести от него взгляд.

Набегавшись галопом, жеребец вдруг перешел на иноходь. Теперь он еще сильнее выгибал шею, словно стремясь коснуться челюстью мускулистой, идеальных пропорций, груди.

– Все готово, синьор! – сказал Клементе, внезапно возникший возле них, и указал на мольберт с водруженным на него подрамником.

Судя по величине холста, картина задумывалась серьезная, что лишь подтвердил своим видом граф Валиннaro, шагая по дорожке в немыслимом восточном одеянии, с кривой саблей на боку и тюрбаном на голове. Аурелио хрюкнул, давась смехом, но невероятным усилием воли подавил и свой хохот, и готовый вырваться смех племянницы – он успел слегка ущипнуть ее за лопатку и отрицательно качнуть головой. Эртемиза закрыла пол-лица ладонями, где кривящиеся губы, которые она закусила, предательски выдали бы ее графу, но глазам смогла придать подобающую серьезность.

– Теперь взнуздайте и седлайте! – приказал синьор Валиннaro, и вокруг забегали слуги с конюшни. – Ну, как я вам? – покрутив ус, он самодовольно поглядел на художника и его племянницу.

– Бесподобно! – выдохнул Аурелио, окончательно справившись с собой, но тут тихий стон и писк Эртемизы, которая едва не плакала, разрушил все его старания. В следующий миг синьор Ломи привалился к ограждению левады и безудержно расхохотался. Слезы брызнули у него из глаз.

Граф с полминуты непонимающе переводил взгляд с художника на девочку, потом оглядел себя и тоже согнулся пополам, изумляя слуг, которые даже перестали седлать золотого и с приоткрытыми ртами уставились на хохочущих господ.

– Черт побери, но я пообещал, я дал клятву, что буду позировать верхом на Мерхе в этой одежде! – огорченно признался Валиннaro.

– Сними саблю, – посоветовал Аурелио.

– Саблю?

– Ну да, саблю. Ты привесил ее обратной стороной.

Всплеснув руками и хлопнув себя ладонью по лбу, Валиннaro последовал совету художника и разоружился. Тем временем Аурелио, дав слугам знак подождать, поманил за собой Эртемизу. Мерхе, слегка прядая изящными ушами, стоял и уже совершенно невозмутимо ждал, позволяя людям находиться рядом и делать какие-то свои, не интересные ему дела. Лишь иногда он опускал голову и вынюхивал что-то в песке, чтобы затем вновь горделиво вскинуть ее на манер благородного оленя – слегка запрокидывая на спину, как не делала ни одна здешняя лошадь.

Аурелио положил руку ему на грудь. Скакун чуть брезгливо дернул шкурой под ладонью художника, но более протестовать не стал. Эртемиза нерешительно подошла и ткнулась носом в горячее лошадиное плечо, вдыхая головокружительный степной запах неведомых стран, источаемый волшебным, невозможным, как единорог, существом. Мерхе спокойно взглянул на нее, топнул ногой и отвернулся, с безразличием разрешая им двоим продолжать занятие.

– Подобно фигурам из геометрической науки, Миза, внешним строением различаются бестии и человек. Может, ты и сама замечала, как иной раз зверь похож на своего хозяина...

Уклончиво, но девочка все же кивнула. Долговязый и тощий, как веревка, граф больше напоминал наряженное чучело гигантского кузнечика, чем этого небесного красавца-коня, но видала она и в самом деле похожих между собой хозяев и питомцев. Взять хотя бы старую тетушку отца, донью Чентилецки, и ее противную обезьянку с быстрыми глазками: и если тетушка вцеплялась в тебя взглядом, чтобы высмотреть пороки, то срамная тварюшка делала это исключительно в поисках того, чего бы спереть.

– Наши кони грузны, как силачи на ярмарочных площадях, все тело их слеплено в расчете на то, что будет таскать тяжести. Их пудовые копыта не позволят бежать скоро, но это и не нужно. Зато они незаменимы в походах и баталиях и могут стать не только оруженосцем, но и самим оружием, когда нужно догнать и растоптать врага. У них очень развиты мышцы грудины и шеи, у них огромная широкая спина и мощный круп. Теперь взгляни на этого аргамака. Один из их рода, вороной, с белым пятном в виде бычьей головы прямо посередине лба, был продан торговцем из Фесалии царю Александру Великому. Имел он, как говорят, норов неукротимый, и лишь Александр понял его, после чего Буцефал его признал.

– А как он его понял, как? – Эртемиза гладила Мерхе по ноге, и он мелко подрагивал кожей, но уже не из-за брезгливости, а скорее от удовольствия; иногда он поворачивал голову и, взглянув на девочку внимательными и по-прежнему слегка удивленными глазами, обнюхивал ее волосы.

– Он догадался, что Буцефала пугает его собственная тень на земле, и повернул коня к солнцу. Тогда тот спокойно побежал вперед, а Александр запрыгнул к нему на спину. Было царю тогда чуть больше лет, чем тебе сейчас.

– Я тоже так хочу... – прошептала она.

– Но... – Аурелио замялся в нерешительности.

– Посади чадо на коня! – велел граф Валиннaro, подходя к ним. – Его прежний хозяин уверял меня, что это конское племя ребенка не обидит.

– Дядюшка, пожалуйста! – взмолилась Эртемиза, складывая руки перед грудью.

Синьор Ломи взял ее за ногу и легко подкинул на неоседланную спину Мерхе. Управляться с лошадьми она умела давно, и если бы не рост, сама запрыгнула бы верхом. Скакун легко помотал головой, встряхивая редкой причесанной гривой, плавно тронулся с места и сразу побежал, избрав плавный аллюр иноходи, как будто понял, как обращаться со своей ношей.

– Говорю же вам: ребенка не обидит! Значит, Александр Завоеватель был тогда чуть старше твоей племянницы, Аурелио? Стоит ли удивляться после этого смирению Буцефала?

О чем они говорили далее, унесшаяся верхом на самом прекрасном коне в мире Эртемиза уже не слышала. Она сжимала пятками ходившие ходуном бока Мерхе, а рукой держалась на пучок гривы, и ветер дул им навстречу радостно и пылко, а копыта коня глухо и часто перебирали ритм сердца на усыпанном желтым песком выгоне. Эртемиза провела рукой по его шее, удивляясь тому, что шкура его все еще остается сухой. И захватывало дыхание от радостной мысли, что когда-то, давным-давно, на таком же прекрасном коне сидел сам македонский царь и так же, как она теперь, чувствовал себя самым счастливым человеком на свете.

Валиннарро же, повернувшись к Аурелио Ломи, с сожалением добавил, что племяннице того нужно было родиться мальчиком: мол, горько ей будет с таким *temperamento*¹ изображать покорность и смирение, когда придет время. Художник уклончиво покачал головою, но вынужден был согласиться с приятелем.

¹ *temperamento* (итал.) – нрав

Возвращение в родную семью запомнилось Эртемизе той необоримой вспышкой досады, какую она испытала, узнав, что в ее отсутствие к отцу приезжал Меризи Караваджо ради какого-то реквизита. Чуть не плача, кинулась она в мастерскую Горацио, оттолкнув с дороги брата, принесшего эту новость.

– Папа! Это действительно так? К вам приезжал синьор Караваджо?

От пронзительного детского крика все обитатели мастерской, даже натурщики, оставили свои занятия и обернулись на стоявшую в дверях девчонку с полыхавшими, черными от злости и отчаяния глазами.

– Что в том такого, Миза? Он бывал тут и прежде...

Голос Горацио звучал невозмутимо, но на лице было написано изумление. Эртемиза смутилась и отступила. Опустив взгляд и путаясь в словах, она спросила, не передавал ли мессер Караваджо что-нибудь для нее. Два ученика синьора Ломи хихикнули, слуги зашептались, а сам отец лишь развел руками.

Эртемиза вылетела прочь, кляня отвратительную тетку с ее обезьяной, из-за которых так и не удалось встретиться с долгожданным гостем. Меризи не передал ей ничего! Наверное, он попросту не хотел, чтобы кто-то еще узнал об этой диковине!

И когда один из подмастерьев, что посмеялись над нею в мастерской отца, нарочно задел ее спустя несколько часов словами «Сер Караваджо, верно, и не знает о том, что ты существуешь», Эртемиза в ярости набросилась на него с кулаками, невзирая на то, что он был много старше и сильнее. Их, сцепившихся клубком в пыли посреди двора, словно кошка с собакой, едва растащили в разные стороны. Пруденции не хотелось наказывать дочь, однако под нажимом синьоры Чентилецки пришлось велеть няне отсыпать Эртемизе розог. Няня старалась не слишком, и особенной боли от порки «бесноватая девочка» не испытала, но это было так унижительно, что с каждым ударом она разрабатывала очередной пункт плана побега из родного дома и мести глупому отцовскому ученику. А снова объявившиеся «страхолюды» злобно наблюдали за экзекуцией, бросая издевательские комментарии и дразнясь упущенной возможностью получить щит великого Леонардо.

Глава четвертая

Шальная

Воздух в доме был сумрачен и глух. Серое свечение окон навевало смертную тоску.

Эртемиза никак не могла отыскать мастерскую, и с несколькими листами картона в руках бродила по незнакомым лестничным переходам, то и дело наталкиваясь на сидящих по углам призраков Босха. Это они водили ее, не пуская к отцу. В животе что-то болезненно ныло, и хотелось присесть, но Горацио ждал набросков, поэтому нужно было выбраться из дома, вдруг ставшего чужим и незнакомым.

И тут медленно открылась одна из дверей, словно подманивая Эртемизу. Там, у окна, в кресле сидела Пруденция и, наклонившись к коленям, расчесывала перекинутые вперед темно-каштановые волосы. Полные белые руки, бронзовый гребень, скользящий от макушки к коленям по водопаду из густых волос... Мама тихо напевала под нос какой-то мотив.

Эртемиза подошла ближе и прислушалась к словам этой странной песенки. Живот заболел еще сильнее, когда до ушей донеслось еле разборчивое «дайте мне умереть»¹.

– Матушка! – вскрикнула она.

Пруденция двумя руками распахнула волосной занавес в разные стороны. Лицо какой-то чужой, страшной женщины уставилось из-под него на Эртемизу:

– В монастырь! – скрипуче прокричала чужачка. – Вон!

И девочка, не разбирая пути, кинулась прочь из комнаты.

¹ Мадригал Клаудио Монтеверди «Плач Ариадны» из оперы, которая станет известна спустя несколько лет после описываемых событий

Сердце дергалось, как выброшенная из воды рыбина. Эртемиза лежала, еще чувствуя в руках картон с набросками и ноющий комок незнакомой боли внизу живота. Светлая комната, распахнутое окно с невесомой занавесью, отдуваемой ветерком, дальний крик петухов и конское ржание... И все еще стоящий в ушах мотив «Дайте мне умереть».

На всякий случай она прошептала молитву, которая, по уверениям кухарки Бонфилии, прогоняла дурные сны или же, коль приснились, не позволяла им сбыться. Сон и впрямь был ужасным, такие Эртемизе еще не снились, и, осенив себя крестом, она вскочила, чтобы поскорее увидеть маму. Боль усилилась, а к ней добавилось чувство чего-то горячего и мокрого, выкатившегося изнутри, что побежало затем по бедру к коленке. Эртемиза сунула руку под подол сорочки и потом долго, оторопело разглядывала дрожащие окровавленные пальцы. «Нет, нет, я не хочу! Я не хочу...»

Однажды, много лет назад, она подслушала болтовню служанок. Кто-то из сплетниц рассказал тогда, что ее родственник служил на конюшне у госпожи, которая родилась мальчиком и была им до десяти лет, после чего заболела и почему-то сделалась девушкой. Остальная прислуга рассказням не поверила, а вот Эртемиза ухватила за эту обнадеживающую идею, ведь если у кого-то получилось стать из мальчика девочкой, то почему не может выйти наоборот, причем с нею? Она всегда хотела быть мальчишкой, все вокруг, не скрывая, жалели о том, что природа настолько ошиблась, и даже отец качал головой, когда у них с Аурелио заходила речь о ее дальнейшей судьбе: «Ты же понимаешь, они не примут в Академию женщину!» Эртемиза относилась к своему полу как к болезни, к мешающему жить физическому изъяну сродни горбу или колченовости. И вот теперь все ее надежды пошли прахом. То, о чем ее аккуратно предупреждали мать и няня, от чего она сама легкомысленно отмахивалась, веря в свое выдуманное счастливое перерождение в грядущем, сегодня утром все же случилось. Несколько месяцев

назад Эртемиза уже чувствовала, как под жестким корсажем платья режущие болят грудь, становясь все больше, заостреннее и тяжелее, но почему-то не придавала этому особого значения. А теперь...

Она стояла и плакала, боясь пошевелиться и запачкать белую сорочку. Ей было противно, она ненавидела себя, ту, кем она становилась с появлением очередной беды, которая с начала творения изрядно портила жизнь всем женщинам этого мира.

Потом прибежала няня, хлопотала вокруг, утешала, торопливо рассказала, что Эртемизе теперь нужно будет делать со своей одеждой, и убежала на зов снова прибывшей к ним донны Чентилецки. Вытирая глаза, Эртемиза прикрепила сложенную в несколько раз повязку к нижней юбке и оделась, чтобы пойти к маме, но суета в доме была связана именно с тем, что происходило в комнате Пруденции: как успела шепнуть одна из служанок, рано утром у синьоры Ломи начались преждевременные схватки, что-то пошло не так, и оттого теперь все в доме ждут приезда врача, а он все не едет, и, кажется, синьора чувствует себя все хуже.

– Я хочу к маме, – прошептала тогда Эртемиза, смагивая горячие слезы. – Мне нужно, очень!

– Я спрошу, – пообещала служанка и тут же забыла о ней.

Эртемиза стояла, давась рыданиями, такой ее и застала вышедшая из комнаты донья Чентилецки. Еще крепче сжав усохшие синеватые губы, старая синьора строго оглядела ее и велела зайти. Уговаривать Эртемизу было не нужно – она бросилась в спальню и с разбега упала на колени возле кровати, целуя бессильную руку матери. Пруденция открыла глаза. На нее снова надели этот ужасный чепец, в нем она казалась старой и больной.

– Это я виновата, это мне приснилось!

Женщина лишь высвободила руку и погладила ее по голове. Служанки в углу возились с кипятком и какими-то тряпками. Вспомнив о пятнах собственной крови, которые еще совсем недавно были у нее на руках, видя окровавленное тряпье и здесь, у матери, Эртемиза испытала вдруг что-то похожее на отвращение ко всему бытию, да такое сильное, что хотелось выбраться из противного тела и больше никогда уже в него не возвращаться. А глаза Пруденции вдруг налились ужасом и болью, она схватилась за живот и хрипло закричала.

– Ступай, ступай, – вытолкала Эртемизу донья Чентилецки.

Отец сидел в мастерской, но он не работал, а подмастерья без дела болтались по двору. Эртемиза увидела, что у него воспаленные глаза и трясутся руки. Все рушилось.

Врач приехал, когда Пруденция уже умерла, а прислуга начала готовить дом к трауру. Последний ребенок так и не родился.

– Тебе скоро тринадцать, ты уже взрослая, – где-то далеко звучал голос старой тетушки отца. – Теперь ты должна будешь заботиться о своих младших братьях.

Когда почти два года спустя траур в семействе Ломи закончился, а в далекой Венеции, в собственном трактире близ церкви Сан-Джан-Деголлато, где почитали четырех апостолов и святую Елену, был схвачен некто карниец Биазियो, который был колбасником и готовил любимейшее блюдо всех венецианцев – великолепное сгваццетто, что-то неуловимо менялось в этом мире для Эртемизы. Запертая в своем мирке, она ничего не знала сверх того, что ей рассказывали приходящие педагоги, нанятые вдовцом-Горацио, дядюшка и его друзья, а также любившая посплетничать челядь. Вести о войнах разносились стихийно, а обо всем прочем – медленно вплетаясь в слухи и домыслы. История о луганегере Биазियो и давно осталась мрачной городской легендой, не выбравшейся за пределы Венеции. И напрасно, поскольку о ней могло узнать сразу несколько заинтересованных в подробностях людей, давно уже там не живущих. Возможно, Биазियो оговорили конкуренты, но не исключено также, что обвинения имели под собой основание. Одним словом, колбасник был жестоко казнен, когда прошел слух о том, что он добавляет в свой фарш нежное мясо младенцев, и не помиловали его даже в честь при-

ближающейся Пасхи, а также припомнили, как год назад неподалеку отсюда прямо из колыбели пропала маленькая дочь капельмейстера Гоффредо ди Бернарди, бесследно сгинувшего вслед за этим в водах Гранд-канала. Луганегер вначале отрицал свои преступления, но под аргументами тисков сивиллы зарыдал и сознался бы в чем угодно даже толстошкурый невольник-эфиоп, не говоря уж о хлипком трактирщике, трясшемся уже при одном виде железных колец, способных раскрошить все суставы пальцев. Теперь тень безутешного композитора, чей труп так и не был найден, могла возблагодарить сограждан за отмщение и упокоиться с миром, поминаемая добрым словом любителей музыки. Джованни Кроче, заменивший ди Бернарди на его посту, был дряхл, страдал подагрой и мало интересовался своими капельмейстерскими обязанностями, в результате чего славная капелла начала приходить в упадок, теряя свой урвень и все более обременяясь долгами.

И все же для Эртемизы что-то менялось. Как все ее ровесники, она жила и дышала весной, предвкушением чего-то праздничного, что непременно должно вот-вот нагрянуть и осчастливить. Она все еще ждала главного подарка и в глубине души верила, что это случится не сегодня-завтра. Воображение рисовало образ долгожданной реликвии, а каждое упоминание Меризи Караваджо отдавалось пульсирующей огненной вспышкой в центре груди, заставляло прислушиваться и задерживать дыхание, чтобы не упустить ни слова. Но мессер не торопился в их края...

Вместо этого по дому пошли речи о том, что вот-вот появится новая хозяйка, и отец особенно не отпирался, соглашаясь с доводами здравого рассудка по поводу необходимости женской руки. Известия эти не радовали ни Эртемизу, ни братьев.

– Да господь с тобой, Миза! – рассмеялся Аурелио, услышав опасения племянницы, приехавшей к нему в гости, и между беседой набросился на ученика: – Внимательнее, Альфредо, внимательнее. Ведь, обрати внимание, это у пожилых людей все черты лица будто расходятся от центра и оплывают. А чем младше, тем все ближе друг к другу. И губы – вот посмотри на нее! – там губы бутончиком, подобранные, словно для поцелуя. А что строишь ты? Ну что-о это?

Натурщица едва сдерживала улыбку, и прежде вместе с нею улыбалась бы Эртемиза, но сейчас юной синьорине Ломи было не до смеха. Дядя тем временем подошел ко второму ученику, долго смотрел на эскиз и в итоге заключил:

– Молодец. Стирай. Ну-ка пусти!

Он встал к мольберту и, пристраивая портрет, едва ли не сюсюкался с получающимся изображением, когда объяснял подмастерьям свои действия. Эртемиза несколько оттаяла, слыша эти знакомые мягкие интонации: успокаивающий ритм дядюшкиной речи был тем, чего ей всегда так не хватало при общении с отцом. «Давай-ка, Миза, покажи им ты!» – он подал ей уголек.

– Не переживай, бамбина, – собираясь уходить, Аурелио мягко коснулся ладонями ее плеч и поцеловал в затылок. – Ни одна здравомыслящая женщина не согласится связываться с такой оравой. Даже я сбиваюсь со счета, когда пытаюсь вспомнить, сколько вас там всех вместе!

– Вот это-то меня и пугает, – проворчала Эртемиза, рассеянно водя углем по бумаге поверх дядиных построений. – Сумасшедших нам хватает и своих...

– Губочки, губочки ей бутончиком рисуй! Я скоро вернусь. Диего, к моему возвращению попона генеральского коня должна быть дописана!

– Да, сер Ломи! – отозвался бледнолицый Диего с легким темным пушком усиков, наметившихся над губой, а когда Аурелио вышел, подобрался к Эртемизе: – Что случилось?

– Если у нас появится мачеха, меня сплавят в монастырь, я даже не сомневаюсь! – рисунок ложился резко, угловато, и «бутончики» получались очень уж хищными, злыми.

– Твой дядя прав, наверняка все обойдется!

Эртемиза засопела, потом сердито выдохнула через ноздри и повернулась к Диего:

– Давай ты мне попозировешь?

Малолетние ученики захихикали, но тут же были одернuty старшими и призваны работать, а не подслушивать.

– Я не против.

– Я имею в виду... – она коснулась двумя пальцами его блузы, – без всего.

Диего даже отшатнулся:

– Ты и правда сумасшедшая! Меня твой дядя убьет!

– Дядя не убьет. Отец, если узнает – да, а так нет. Но тебя должно утешать то, что если узнает отец, то он убьет и меня тоже.

– Это значительно меняет дело, но, видишь ли, у меня в планах пожить еще лет десять.

– Так мало?

– Через десять лет мне будет аж двадцать шесть, тогда и помирать не жалко, такому-то старику!

– Болтун. Помощи от тебя...

– При одном условии! Ты меня поцелуешь.

Она скривилась и окинула его нарочито презрительным взглядом:

– Не такая уж ты привлекательная модель, чтобы я тебя целовала!

Диего в долгу не остался:

– Да и ты не такая уж красавица, чтобы я тебе просто так позировал! С паршивой овцы хоть шерсти клок.

– Что, овцы пригодные не дают тебе... шерсти?

Он покачал головой:

– Ох и язык у тебя! Чисто змея! – и посерьезнел: – Нет, Миза, я бы хотел помочь, но сейчас за это можно поиметь серьезные неприятности. Да ты сама прекрасно это знаешь. И тебя подвести я тоже не хочу, брось эту затею!

– Ладно. Забудь об этом.

– Шальная ты. Ну да ладно, мы любим тебя и такой. Только ты сейчас альрауне нарисовала, а не ее. Молодец...

– ...стирай!

Два последних слова они проговорили дуэтом. Натурщица прогнала улыбку, закусив губу, и на мгновение стала похожа на эртемизин набросок.

– Что бы ты понимал в истинных альраунах, – с горечью высказалась Эртемиза, потом вытерла испачканные пальцы холстиной и направилась к двери из мастерской: – А ты иди, иди, дописывай попону на заднице генеральского коня!

Страхи младшего поколения семейства Ломи оказались не напрасными, и на исходе весны отец объявил о скором приезде гостей – синьоры делла Бианчи с сыном, ровесником Эртемизы. По словам кухарки, шестнадцать лет назад эта жеманная дама и ее тогда еще живой и здравствующий супруг присутствовали на свадьбе Горацио и Пруденции в качестве какой-то дальней родни непонятно по чьей линии.

Роберта делла Бианчи была значительно старше матери Эртемизы, но моложе отца и вполне подходила на роль мачехи, гордящейся своим родным и до одури благовоспитанным отпрыском, но при этом – так и быть – готовой взвалить на свои плечи тяжкий крест пестования огромного и безалаберного выводка, где положиться нельзя было даже на пронзительно-окую старшую девочку, худющую, с враждебным взором исподлобья. Высокая и нескладная, вся какая-то причудливая, точно корень неведомого растения, она меньше всех детей Ломи понравилась синьоре Бианчи: в ней было что-то чужеродное и престранное, чего не найдешь в других подростках. Конечно, не такой виделась в мечтах будущая жизнь Роберте, но выбирать не приходилось, ведь, невзирая на все ухищрения, краса ее увядала с каждым прожитым

годом, состояние было не таким уж большим, а род – не столь знатным, чтобы у дверей ее дома выстраивалась очередь претендентов на руку и сердце. Дабы обрести равновесие, синьора Бианчи прибегла к проверенному способу, а иными словами, попросту обязала сына – Карло, или, как она его называла, Карлито – стать ее тенью и не отходить ни на шаг. В случае растерянности она вцеплялась в его руку так, как цепляются за сиделок маломощные старухи, едва ли способные переставлять ноги. Карло же, красивый голубоглазый мальчик с явными приметам северянина, не в мать, покорно исполнял все ее прихоти, как если бы она и в самом деле была тяжелобольной.

Вещи вслед за ними втащили в дом несколько слуг, среди которых, как фазан среди серых перепелок, выделялся яркий и бойкий парнишка возраста Карлито и Эртемизы. Этот был хорош по-иному, по-простецки, а звали его Алиссандро, и именно на нем застрял мятущийся взгляд старшей из детей Ломи. Коренастый, чернокудрый, ловкий, он напоминал ладного французского конька-работягу, и тело его в пятнадцать лет выглядело полностью завершенным, как у взрослых мужчин. Рукава блузы подвернуты, и на руках можно видеть отчетливый рельеф перекачивающихся под кожей мышц. Таких натурщиков выбирал для своих картин отец, а ее выгонял из мастерской или же занавешивал сцену громадными полотнами, чтобы дочь, не приведи господь, не увидела сидящих и стоящих в одном исподнем, а то и полностью обнаженных моделей мужского пола. Девниц – сколько угодно, но что в том толку, если женскую натуру Эртемиза могла наблюдать и в зеркале, когда пожелает душа? Рисовать мужское телостроительство наугад – задача невыполнимая, а делать это с чужих картин Горацио категорически запрещал и ей, и Франческо, единственному сыну из всех, более или менее способному к художественному ремеслу: срисовка, по его мнению, могла испортить, сбить руку ученика навсегда, как бы ни спорил с ним по сему поводу Аурелио, ссылаясь на мастеров прошлого, нередко делавших копии работ своих предшественников. В этом вопросе отец был неумолим.

Поймав на себе жадно впитывающий взгляд темноволосой дурнухи, одетой между тем как госпожа, Алиссандро истолковал его по-своему: у них, у дворни, все было проще, да и девки попадались веселые и безотказные. Он тут же ей и подмигнул, а дурнуха сразу встрепенулась, нахмурилась и отвернула голову в сторону господ Бианчи. Кокетничает, известное дело, знаем мы эти их штучки!

– Алиссандро, снеси вещи синьора в его комнату, – велела Роберта, не отходя от сына.

Вот старая карга, уцепилась, теперь с Карло ни языком почесать, ни на двор сбежать! Они с хозяином приятельствовали с младых ногтей, и синьоре приходилось мириться с их дружбой, поскольку кормилицей Карлито была родная мать Алиссандро, а это делало их молочными братьями, поэтому само провидение распорядилось, чтобы мальчишки стали не разлей вода.

Один из здешних слуг показал ему дорогу на половину господ, и, найдя комнату, отведенную Карло Бианчи, Алиссандро принялся вынимать и раскладывать вещи хозяина. То, что за ним наблюдает пара внимательных темных глаз, он понял не сразу, но, когда понял, решил не подавать вида и сначала разведать, с какой целью она сюда явилась.

Эртемиза медлила недолго. Убедившись, что никто снаружи не видел, как она сюда вошла, девушка плотно прикрыла дверь и ввинтилась в комнату. Алиссандро кивнул ей, однако от занятия своего не оторвался.

– Тебя Алиссандро звать, ведь так? – спросила она, следя за движением его рук, как кошка за веником.

– Ну да, а тебя?

Пропустив его вопрос мимо ушей, Эртемиза подошла ближе:

– Мне нужна небольшая услуга. Это нетрудно, просто тебе нужно будет неподвижно постоять час или два, пока я тебя нарисую.

Алиссандро тут же разобрало любопытство, и он уставился на нее, как на диковину:

– Разве бабы рисуют?!

В ее взгляде засветилась угроза:

– Послушай, не твое это дело!

Он криво ухмыльнулся. А если присмотреться, она ведь не так уж и дурна собой. Тоша больно, особенно в талии, как цыганка-плясунья, ну да это дело поправимое, были бы кости – мясо нарастет. Глаза красивые, причем когда злятся, прямо чернущими делаются, что твои маслины. И грудь вон есть, хоть и придавленная по моде жестким корсажем платья, а все равно видно – уже выросла, и вроде даже не маленькая.

– Ладно, ладно, извините, синьорина, я не хотел вас сердить. Так ты в самом деле рисуешь? По правде?

– Ты согласен?

– Ну да, а чего в том такого? Надо будет – постою. Хоть сейчас.

– Сейчас не нужно. Когда все разойдутся, я тебя позову.

Алиссандро проводил ее взглядом. Занятная девчонка, он таких раньше не видел. Рисует она! Хотелось бы это увидеть...

Тем временем Эртемиза припрятала под рабочий передник несколько листов бумаги, а в карманы набрала сепии, мела и несколько кусочков хлебных мякишей. Отвлеченный гостями, отец ее приготовлений не заметил.

Она привела слугу Бианчи в пустой старый амбар. Здесь было достаточно светло, чтобы днем можно было рисовать, не зажигая свечей. Спрятав руки в карманы длинной куртки, Алиссандро с любопытством озирался по сторонам.

– А дальше-то что?

– Раздевайся... – она подождала, но он так и не понял, что раздеться нужно полностью. – Сними все.

– Чего?!

– Получишь три кваттрино, если снимешь все и постоишь час.

– Ты рехнулась. Ладно, деньги вперед.

Но братья научили Эртемизу торговаться, и в итоге она выдала слуге авансом только один медный кваттрино, посулив остальное потом. Говорить о том, что это почти все ее личные запасы, девушка не стала. Усмехнувшись, Алиссандро обнажился и был крайне удивлен тем, что юная госпожа не только не смутилась, но и, подойдя вплотную, стала разглядывать устройство его плеч, лопаток, груди, живота и бедер, при этом по-хозяйски вертя его во все стороны, заставляя приподнимать руки и принимать разные позы. От всех этих движений он неизбежно ощутил щекотку, тяжесть и напряжение в паху, однако и это обстоятельство странную девицу не напугало и не заставило покраснеть. Эртемиза только отошла, уселась на полено и, вытащив из-под фартука бумагу, принялась быстро рисовать.

– Теперь присядь на корточки и слегка поверни голову в сторону ворот. Да, вон туда... вот так. Не двигайся больше!

Это было утомительно. Оказывается, неподвижность выматывает больше, чем многочасовое перетаскивание тяжестей. Алиссандро не знал этого и теперь немного жалел, что не стресковал с этой затейницы более высокую плату.

– Покажешь? – застегиваясь, спросил он, когда она отдала ему оставшиеся деньги.

Без лишних уговоров Эртемиза равнодушно протянула ему наброски.

– Ну вот ничего себе! – засмеялся Алиссандро. – Это же я!

– А кого ты ожидал увидеть?

– Так ты в самом деле художник? А этими... красками – умеешь?

Она тяжело вздохнула, выхватила рисунки и направилась к воротам амбара. Алиссандро заправил рубашку, набросил куртку, а потом кинулся за нею:

– Нет, ну правда, умеешь красками? А как ты их готовишь? А ты покажешь, как рисуешь красками?

Эртемиза остановилась и, повернувшись к нему, прямо спросила:
– Если я покажу тебе, как пишу красками, ты будешь позировать мне еще?
Так у них появилась маленькая тайна ото всех домочадцев.

Глава пятая

Подвели под монастырь

Дело уже шло к свадьбе Горацио и Роберты, когда к ним снова нагрянул мессер Караваджо. Был он в пыльной одежде, встрепанный и настороженный. Эртемиза выглядывала его из-за угла дома с приоткрытым ртом, но отчего-то так напугалась при виде этого дерганного и озирающегося по сторонам человека, что ноги отказались нести ее навстречу долгожданному гостю. Она видела, как изменился в лице отец, как ухватил того под локоть и быстро увел в беседку, торопливо говоря что-то о полиции, которая может нагрянуть в любую минуту.

Меризи был совсем не таким, каким его нарисовало воображение Эртемизы, встречавшейся с ним только в раннем детстве и полностью позабывшей истинные черты лица знаменитого мастера. Сейчас он казался очень усталым, пожилым, хотя – она знала – был много моложе отца, и совсем не таким величавым, каким пристало выглядеть художнику его уровня.

Всего несколько дней назад они с Алиссандро стояли у картины-копии, сделанной дядюшкой Аурелио с «Юдифи» Караваджо, и она рассказывала удивленному слуге историю убийства Олоферна. События, поведенные полотном и Эртемизой, впечатлили парня не на шутку, он разглядывал каждую деталь изображения, словно зачарованный:

– Святые угодники! Она ж отпиливает ему голову!

– Да. Синьор Караваджо первым написал эту сцену именно так. До него Юдифь показывали уже с отрезанной головой и никогда не показывали, как она это делала.

– Ты посмотри, она стоит в стороне, и ей противно это делать! Даже не хочет к нему прикоснуться! Посмотри на ее лицо...

Теперь, выслеживая отца и их гостя в беседке, Эртемиза налетела на Алиссандро и Карло, вывернувших откуда-то со двора на дорожку за домом. Карло слегка улыбнулся ей, по обыкновению теряясь, как правильно себя вести с будущей сводной сестрицей: то ли держаться чуть свысока, как это всем своим видом подсказывала делать мать, то ли пасовать перед независимым нравом девчонки. Нерешительность и высокомерие, смешанные одномоментно, заставляли его чувствовать себя неуклюжим и смешным. А еще он подозревал, что у них с Алиссандро водятся какие-то общие делишки, но слуга-приятель не спешил посвящать его в свои секреты, хотя раньше между ними такого не было.

Не ответив на улыбку Карлито и даже не взглянув в сторону Алиссандро, Эртемиза просто посторонилась, чтобы пропустить их мимо себя.

– Кто этот синьор? – поинтересовался Карло, сквозь виноградные лозы разглядев двоих художников в беседке.

– Караваджо, – неохотно ответила она.

– Сам?! – вырвалось у Алиссандро, но под уничтожающим взглядом Эртемизы слуга тут же осекся и, оправдываясь, объяснил хозяину: – Его картина висит в гостиной, и синьорина мне про нее рассказала. Ее нарисовал синьор Караваджо, вон он сидит...

Это имя не произвело на Карло никакого впечатления, а вот поведение друга вызвало укол и какой-то неприятный холодок под ребрами. Молодой Бианчи ощутил себя так, будто его предали.

– Так вы идете или будете стоять здесь? – с нетерпением уточнила девушка.

– А ты? – вдруг дерзнул перечить ей Карло. – Подслушивать взрослых нехорошо.

– Неужели ты мой исповедник? – Эртемиза сложила было руки на груди, чтобы не жестикулировать, словно какая-нибудь простолюдинка, но тут же вспомнила, что сделала это неосознанно, из-за постоянных одергиваний со стороны Роберты, а посему назло ей взмахнула кистью перед лицом будущего родственника. – Когда станешь священником, тогда и приходи поучать!

Алиссандро поморщился:

– Идем, Карло!

Не ускользнули от Карло взгляды, которыми обменялись слуга и вздорная девчонка, и чтобы не унижаться перед нею, он лишь поджал губы, как это часто делала мать, и отправился вперед, нисколько не сомневаясь уже, что Алиссандро за его спиной что-нибудь шепнет Эртемизе, а потом кинется догонять.

Караваджо исчез так же внезапно, как и появился, что-то получив от Горацио и снова даже не вспомнив о его дочери. Всё, всё выдумали проклятые альрауны, они просто водили ее за нос много лет подряд!

– Тебе никто не говорил, что эта вещичка у Караваджо, это ты придумала сама!

Услышав противный и знакомый с младенчества скрипучий голосок «страхолюда», Эртемиза подняла голову и разглядела человечка в ветвях персикового дерева. Перекрученный, словно корнеплод, он цеплялся за шероховатую кору и ухмылялся. И она поняла, что альраун прав: они в самом деле никогда не говорили ей сами, что Меризи что-то должен ей передать, это были догадки, которые они, издеваясь, просто подхватили и сделали ложной истиной, чтобы окончательно запутать Эртемизу.

Визгливый смех послышался со всех сторон. Посоветовав им сгинуть и на всякий случай перекрестившись, она зашла в мастерскую, собрала нужные ей принадлежности и отправилась в тайный амбар дожидаться, когда Алиссандро станет свободен, чтобы немного его порисовать согласно их общему уговору. Не всегда все проходило гладко, поскольку нередко слугу начинали звать, едва она вынимала из кармана уголь, и тому спешно приходилось одеваться и сломя голову бежать к хозяевам. Но, судя по всему, юноше нравилось это все больше, и он теперь даже не заикался об оплате его услуг, зато постоянно раздражал ее разными – глупыми, как по ней – вопросами. Однажды он довел ее до того, что Эртемиза сказала, что во времена какого-то Леонардо, о котором он и слухом не слыхивал, некоторые художники изучали строение человеческого тела изнутри.

– То есть как? – удивился Алиссандро.

– А так, – она сделала большие и страшные глаза, наступая на него. – Нанимали натурщика, заманивали в темную каморку, а там разбирали на кусочки! И я тоже хочу этим заняться!

Он прикрылся скомканной одеждой и даже отпрянул. Эртемиза прыснула, и потом они долго смеялись, вспоминая этот разговор.

На этот раз слуга пришел в амбар угрюмым:

– Если они узнают, я получу от твоей мачехи такой нагоняй, что мне больше не служить у вас...

– Для чего тогда твой Карлитто дразнил меня?

– А как по мне, так это ты его дразнила.

– Ладно, я больше не буду.

Он все еще дулся и наотрез отказался раздеваться ниже пояса. Эртемиза не возражала: ей хотелось разглядеть во всех подробностях мышцы груди и пресса, узнать, как они работают, и зарисовать. Алиссандро глядел в дырявый потолок, терпеливо позволяя ее пальцам, уже таким знакомым, как и прикосновения, исследовать его тело. Что-то выяснив, Эртемиза тут же выгибалась, ставила ногу на полено, выкладывала на ляжку бумагу и что-то на ней зарисовывала почти на весу.

– Ну полно тебе, – заметив наконец его обиженную мину, сказала она.

– Видно, ты совсем не хочешь, чтобы я остался у вас служить!

– Наоборот, что ты! Кто мне тогда будет позировать?! – Эртемиза слегка толкнула его пальцами в живот, извиняясь, но не желая делать это на словах. – Мир?

Алиссандро сдержал улыбку, а потом вдруг сделал выпад, поймал ее в объятия и, смяв листы, попытался поцеловать. Она увернулась, и поцелуй пришелся куда-то в висок:

– Эй! С ума сошел? Встань на место! – тут же холодно осадил его девушка. – Ты что такое делаешь?

– Неужели ты никогда ничего этого не хочешь? Ну, ты понимаешь?

Эртемиза расправила и разгладила бумагу:

– Когда я стану писать натюрморт, а кувшин или ваза ползут ко мне обниматься, я не буду и знать, что подумать.

– Так я что же, кувшин для тебя? Или ваза?

Она повела бровями, не отрицая. Алиссандро насупился и простоял молча до тех пор, пока Эртемиза его не отпустила.

И все же она несколько лукавила: в мыслях Эртемиза не была столь уж холодна в отношении своего «натюрморта», особенно когда он был вне поля зрения. Но почему-то стоило ему оказаться рядом – и ей претил даже намек на то, к чему клонил этот разбитной, похожий на испанца малый. И подобное происходило не только в отношении него, в точности так же она отвергала малейшие попытки ухаживаний со стороны Диего, дядюшкиного ученика, который был полной противоположностью Алиссандро. Впечатление от идеи было сильнее, нежели чувство к живым объектам, и с годами это никуда не пропадало – Эртемиза упивалась своей выдумкой, а едва сталкивалась с проявлениями реальности, порой столь не совпадающими с ее фантазиями, ей становилось тошно, хотелось оттолкнуть от себя весь мир и бежать прочь в спасительную страну грез.

В тот вечер за ужином царило напряжение. Роберта бросала немые, но полные неодобрения взгляды на Горацио, а тот хоть и делал вид, что ничего не произошло, и пытался держаться непринужденно, было видно, что и он сидит будто на иголках. О Меризи Караваджо не говорили, однако его тень незримо нависала над их трапезой подобно Дамоклову мечу. Мальчишки, самые младшие братья Эртемизы, затеяли возню за столом, а их даже никто не осадил. Заметив это, они так удивились, что сами притихли, кидая косые взгляды на взрослых.

– Мне нужно будет отлучиться на пару дней, – сказал отец, посмотрев на Эртемизу. – Ты могла бы после ухода твоих учителей прогуляться вместе с Робертой и Карло по городу. Я давно уже хотел показать им Колизей, но все было недосуг.

– Это ни к чему, – сухо ответила госпожа делла Бианчи, опередив падчерицу. – Не вижу смысла уделять внимание развалинам языческих вертепов.

Но тут, как ни странно, вмешался Карлито, который прежде всегда сидел тише воды, ниже травы. Что вы, матушка, сказал он, ведь это целая история, матушка, объяснил он, и мы, дескать, должны знать ее не только по Священному писанию.

– Вот как? – Роберта дернула бровью. – Что ж, если ты настаиваешь...

Удивившись внезапному появлению союзника откуда не ждали, Эртемиза осмелилась добавить, что если бы не античные статуи, созданные древними предками, не было бы Леонардо, Микеланджело, Боттичелли и других великих художников прошлых столетий, мастерство которых возродилось благодаря ваятелям эпохи цезарей. Она, конечно, выразилась не особенно складно, однако и это возмутило Роберту до глубины души:

– Ты еще слишком мала, чтобы рассуждать о таких вещах!

Эртемиза опустила глаза и проворчала, что когда дело заходит о возне с малолетними братьями и прочих делах по хозяйству, ее считают уже достаточно взрослой.

– Именно так! Именно этим и должна заниматься порядочная девушка вместо того, чтобы проводить целые часы в обществе мужчин и совать нос в мужские занятия.

Тут уже юная синьорина Ломи не выдержала, глаза налились чернотой и заискрились:

– Конечно, для тех, кто ничего не смыслит более ни в чем, кроме молитвенника и платьев, любые другие занятия будут казаться не по зубам!

Карло, так не вовремя проглотивший кусок лепешки, подавился и стал кашлять. Все засуетились вокруг него, Горацио принялся хлопать по спине, а Роберта – совать в руки стакан

с водой, чтобы запить. Пользуясь замешательством, Эртемиза вытерла губы салфеткой и удалилась. Однако не из тех людей была ее будущая мачеха, чтобы оставить безнаказанной подобную дерзость. Едва отец за порог, она с самого утра стала следить за каждым шагом Эртемизы, присутствовала на уроках, поправляя и одергивая учителей. «Не произносите в этом доме имя богохульника Галилея, вы разве не слышали слова Его Святейшества?!» – в том числе восклицала она, подразумевая недовольство Камилло Боргезе, не так давно принявшего папский сан, а с ним имя Павел V, всеми этими развращающими веяниями безбожников, смеющих утверждать о гелиоцентризме и о том, что Земля не является центром Вселенной.

– Но, синьора, Коперник... – попытался было возразить преподаватель Эртемизы.

– И это имя не произносите, синьор, иначе я буду вынуждена рассчитать вас!

В конце концов это так утомило всех, что синьорина Ломи просто устала в окно, пересчитывая облака, а учителя отделались самыми поверхностными фразами, скомкали занятия и поскорее убрались восвояси каждый после своего неудачного урока. Роберта вместе с тем лишь получила заряд бодрости и деловито направила его в нужное русло: когда Эртемиза собралась работать в мастерскую, тут же последовал приказ немедленно заняться гардеробом и подобрать наряд для предстоящего выхода в город.

– О, Мадонна, что это за безвкусица, девочка моя? Неужели ты собираешься в такой одежде сопровождать нас и показываться в порядочном обществе? Ты совершенно не умеешь одеваться, детка.

И так раза четыре – скука смертная. У Эртемизы лишь крепло ощущение какой-то безысходной глупости происходящего. Если раньше, особенно в присутствии отца, Роберта вела себя как пристало взрослой женщине, у которой полно своих забот, то сейчас ей словно вожжа под хвост попала и она задалась целью известить падчерицу своими попреками и придирками. По прошествии двух часов она наконец осталась довольна внешним видом Эртемизы, и, собрав компанию из нескольких братьев, Карло, Алиссандро и служанки, семейство отправилось в город.

По своему обыкновению синьора делла Бианчи цеплялась за руку сына, словно бы они были на крутых склонах гор, а не в городе, и постоянно задавала ему пустые вопросы о самочувствии, погоде и прочей чепухе. Алиссандро шел позади всех, отставая даже от служанки Эртемизы.

После базилики Санта Мария Маджоре синьорина Ломи снова повела спутников по оживленной и солнечной Виа Феличе, рассказывая Карло о фонтанах и древних обелисках, установленных на площадях рядом с церквями реконструктором Доменико Фонтана, и, чувствуя кураж, все больше блистала красноречием. Покойная ныне тетушка Чентилецки раньше сказала бы, что в девчонку будто бы вселился бес: это был второй раз в жизни, когда Эртемиза испытывала такое вдохновение, направив все свои способности очаровывать и завладевать безраздельным вниманием публики. Словно кролики за удавом, позабыв про все – Карлито даже освободился от цепких рук своей матери, – они с Алиссандро и служанкой шли за девчонкой как на привязи, смеялись ее шуткам, подхватывали ее фразы, и даже братья, редко видевшие сестрицу в таком ударе, поддались ее колдовскому обаянию, невесть откуда возникшему. Теперь уже Роберта шла позади всех, в одиночестве, растерянная и полная досады. О ней попросту все забыли, даже родной сын. Замечая это, Эртемиза тихонько посмеивалась про себя, а сама обращалась в родник остроумия, откуда только что бралось. Она чувствовала себя всесильной и была уверена, что заговори она громче – и за ними пойдут все гуляющие по улице Счастья, куда бы она их ни повела. Это было прекрасно и удивительно, хотелось летать и смеяться, все время оставаясь вот так же в центре восхищенного внимания зрителей и слушателей. И после долгого путешествия, которого, кроме покинутой всеми Роберты, никто и не заметил, когда глаза Карло и Алиссандро – лазурные и черные, как гагат – уже светились преданной

влюбленностью в Эртемизу, вдалеке показался Колизей. Но тут мачеха сообщила, что ей дурно от долгой дороги и что им пора возвращаться домой.

По свидетельству Алиссандро, синьора закатила сыну истерику и велела впредь не подходить и близко к этой развратной девице. Что она наговорила уже самому Горацио, когда тот вернулся из поездки, слуга не слышал, однако все закончилось тем, что отец принял решение отправить Эртемизу на учебу в монастырь.

Прощались с ней все домочадцы, провожая до кареты, и только Карло жадно смотрел через окно, не решаясь нарушить материнский запрет. Заметив его, Эртемиза с Алиссандро заговорщицки друг другу улыбнулись и нарочно обнялись, словно бы невзначай, вперемежку со всеми остальными. Правда, Алиссандро успел поцеловать ее в щеку, она успела поцеловать в щеку Алиссандро, а Карлито – все это заметить. На том и расстались.

Глава шестая

Metu mortis neglecto*

«На шестой лунный день наступила пора снимать с ветвей омелу. Этне и Тэа впервые готовились к обряду вместе: совсем недавно Тэа вошла наконец в главный круг, и жрица Священной рощи была рада за молоденькую подругу, которую воспитала как старшая сестра»...

*
Metu mortis neglecto – пренебрежение к смерти

Джен раскрыла глаза. Она стояла перед покачивавшимся канатом, а внизу, на площади, галдели, задрав головы, зеваки. Пресвятая дева, заступись, как ты заступаешься за всех других детей, пусть я не упаду или если упаду, то лишь как в прошлый раз!

Тогда ей повезло, и, сорвавшись, она успела схватиться одной рукой за веревку. Весь город тогда кувыркнулся, а потом поплыл вбок перед ее глазами, страх сковал такой, что спасли ее лишь сила пальцев, воспоминание о сердитой бабушке Росарии да те сказки, которые повсюду сами собой сочинялись в голове Дженнаро, отвлекая от невыносимости бытия. Легкая, почти невесомая в свои семь лет и привычная к тому, что все считали ее мальчуганом, Джен в тот раз справилась, раскатала тело в воздухе и забросила себя обратно на канат. Как после всего этого дрожали ее руки и ноги, знали только другие акробаты. И самое главное, в тот яркий, как луч солнца, миг девочка вдруг всей кожей ощутила, что эта толпа внизу, которую цыгане называют публикой, сейчас хочет, чтобы она упала и разбилась. И этот пронесшийся над головами вздох был не ужасом, а предвкушением. Но нет, не дождетесь, вы! Растворив занемевшие губы в улыбке, как учили старшие, она лучше, чем когда бы то ни было прежде, проскакала по воздуху над площадью, едва касаясь вибрирующего на ветру каната.

«Тэрэ якха сыр чиргиня! (Твои глаза как звезды!) – утешала ее после бабушка Росария в своей кибитке и, глядя по коротким, неряшливо остриженным волосам, поила отваром мяты и липы. – Кхам миро! (Солнышко мое!)», – твердила она, перебирая корявыми пальцами черные прядки и видя, как успокаивается и дремлет Джен от звука ее завораживающего тихого голоса, которым в былые времена обманулся не один простак, готовый слушать и слушать, а слушая, выкладывать на бочку содержимое кошелька.

С того самого случая и стал появляться этот страх сделать первый шаг на канат. Публику внизу это злило, и гневными высвистами, криками и хлопками зеваки пытались подбодрить цыганского заморыша, намертво ухватившегося за перила балкона.

«Наступил час последнего испытания. Тэа должна была перепрыгнуть высоко разожженное пламя костра, а потом уже вместе с остальными сестрами двинуться вдоль берега Тихого ручья к тайному алтарю Священной рощи. Но с ужасом глядела сочинительница песней на буйный огонь, никаких сил не было у юной посвящаемой шагнуть навстречу верной смерти.

– Не бойся! – шептали губы Этне, которая стояла с краю поляны вместе с другими служительницами дубравы. – Не бойся, это последний шаг. Огонь очистит тебя, как очищал каждую из нас, и не причинит тебе вреда, но ты прими его как друга!...»

– Прыгай, чертов дзингаро¹! Прыгай! – орали снизу. – Прыгай на веревку, или возвращайте нам наши деньги!

Дженнаро закрыла глаза. Это не крики беснующейся толпы, это всего лишь ревет огонь в огромном костре, через который должна прыгнуть юная друидесса с волшебного острова, где луга залиты изумрудной травой, а дубравы темны и полны тайн древних жрецов.

¹
zingaro (итал.) – цыган

Как, наверное, сейчас злится старая Росария! «Огонь вспыхнул еще сильнее, и Тэа отшатнулась прочь, едва раскаленное дыхание пламени лизнуло ее щеку, свивая в мелкую спираль выбившиеся из косы и упавшие на лоб волосы. От них тут же потянуло горелым, да так, что запершило в горле, а глаза заполонило слезами.

– Всего лишь шаг! – беззвучно умоляла Этне названую сестренку.

Тэа утерлась рукавом и, дернувшись вперед, прыгнула»...

– Амэ джяса кхэтанэ, амэ джяса кхэтанэ! – повторяла Джен, вслушиваясь босыми ступнями в угрожающую вибрацию каната (Мы идем вместе, мы идем вместе!).

Толпа улюлюкала и бесновалась. Они всюду одинаковы – в Милане, Перудже, Флоренции, даже лица у них будто бы срисованы друг у друга какими-то плохими ремесленниками...

«На мгновение Тэе почудилось, что горячий воздух подхватил ее и, как вспыхнувший осенний лист на ветру, подбросил к небу.

– Мы идем вместе! – не сводя с нее взгляда, твердила Этне. – Я здесь!»

Ритм стал понятен, тело соединилось с колебаниями неверной опоры под ногами. Дженнаро выдохнула и сделала первый, пробный прыжок через голову, мягко согнув колени и сжавшись подобно кошке на карнизе. Канат доброжелательно принял ее обратно. Значит, они помирились.

«И Тэа упала в объятия Этне, испуганная и радостная»...

Змеей обвивалась Джен вокруг веревки, ныряла через голову, двигаясь над площадью, как невесомый кустик перекасти-поля, только маленькая тень скользила по головам жадно всматривавшихся вверх горожан. За свои медяки они не жалели глаз на слепящем солнце, закрывались руками, но не могли уберечься от безжалостного света полудня. И последние шаги девочка, переодетая мальчиком, прошла на руках, останавливаясь, чтобы усмирить качание каната, и снова продолжая путь к башне, к одной из колонн которой был привязан второй конец. Сальто – и вот наконец она прочно стоит на широком карнизе, опоясывающем пятый этаж постройки. По лицу течет пот, вся рубашка вымокла насквозь, но Дженнаро счастлива, счастлива как никогда.

Она давно уже выдумала себе этих двух девушек-подруг и, когда становилось совсем невмоготу, сочиняла о них разные сказки-небылицы. Как ни удивительно, это ее выручало. Этне и Тэа жили в далекой-далекой стране, где-то на зеленом острове, там было много бабочек и птиц, а в особые волшебные дни года открывались ворота в холме, бабочки становились маленькими летающими человечками, и сквозь горный тоннель на остров приходили прекрасные ангелы. Джен звала их туатами, а мир, откуда они являлись, – Сидхе. Этне и Тэа были дочерьми ангелов, чьи глаза походили то на заледеневшую зимою кристальную воду синей речки, то на горный хрусталь, прозрачный и сверкающий. Ни у кого из смертных не было таких глаз, все жители мира под этой луной, женщины и мужчины, имели глаза темные, а тела широкие и мощные, как у быков. Ангелы из Сидхе столь же отличались от них, сколь отличается дикий белый аист от домашнего гусака, и знали так много, что людям и понять это было не под силу. Но дети их, полукровки, наследовали и стройность туатов, и поразительные ясные очи, и склонность к познанию. Обычные люди побаивались их и слушались, а потомки ангелов становились в этом мире жрецами и обитали в Священных дубовых рощах. Такими были Тэа и Этне.

Дженнаро нравилось придумывать приключения двух подруг и пересказывать их себе самой перед сном, ведь никто никогда не складывал для нее сказок, как это, по словам бабушки, делают в семьях богатых оседлых людей в городах, куда их табор то и дело заносила судьба. А Джен хотелось, Джен очень хотелось, чтобы кто-нибудь садился у ее постели и нашептывал интересные колдовские истории, но девочка никому об этом не говорила, иначе ее засмеяли бы другие мальчишки, и без того бывшие не прочь позадирать Дженнаро за чужеродность,

которая, невзирая на прошедшие годы, почему-то никуда не девалась. Иногда бабушка Росария зачем-то спрашивала ее с тревогой в голосе, не помнит ли она чего из своего раннего-раннего детства. Нет, Дженнаро не помнила. Она считала, что притворяться мальчишкой – это то, как и должно поступать тем, кто зарабатывает на жизнь общины кувырканьем перед публикой. Джен ни в чем не перечила властной старухе, каждое слово которой было законом не только для нее, но и для большинства взрослых в таборе. Другие девочки ее возраста одевались как их матери, но и это не смущало Джен, ведь они не делали того, что делала она, а в их широких многослойных юбках на руках не походишь и сальто не сделаешь. Все считали ее мальчиком, звали мужским именем, и Дженнаро, не знавшая иного обращения, принимала все как есть. Она была гибкой, крепкой, умела постоять за себя и ответить громким и резким словом, когда то было нужно.

Много земель пронеслось мимо ее глаз – синих, так не похожих на других цыган: табор часто кочевал из города в город. Иные поселения были пестрыми, те – скучными, третьи богатыми, четвертые аскетичными. Различались также люди, жившие в этих городах, но и то лишь на первый взгляд. Когда дело касалось денег и зрелищ, их всех будто равняли одним гребешком.

Когда Джен спустилась на землю, Пепе-Растяпа ухватил ее за ухо, костеря за трусость на канате, что вызвала такое бурное негодование публики, и, отвесив подзатыльник, повернулся уходить, однако она упускать своего не собиралась и вытребовала у него полагающийся кваттрино. С досадой швырнув медяк в пыль, Растяпа зашагал в сторону таверны. Его в таборе не любили, хоть он и был племянником Росарии, а сама бабушка нередко обзывала его гаджо (не цыганом) и бэнг рогэнса (чертом с рогами). Она говорила, что из-за таких воров, как он, плохо думают на весь табор, и упоминала какого-то «его святейшество», который может написать указ об аресте всех цыган в стране, если такие, как Пепе, будут и дальше злить горожан грязным мошенничеством.

– Цыгане, миро чаворо, – шептала старуха на ухо Дженнаро, – не делают дела грубо и грязно. Только если человек сам хочет свою судьбу узнать, так почему ему за пару монет и не рассказать? А против его воли к нему в карман руку совать только дурак, а не цыган, станет! Где это видано?! Бешеная собака долго не живет. Не смотри на дядьку своего, миро чаворо, с глупой головой он родился, с глупой головой рано расстанется...

На вопросы о том, где же ее родители, Росария всегда отмахивалась: «Померли они, давно померли, как ты только родился, кхам миро. Не спрашивай».

Джен сидела на бочонке, болтала ногами и вместе с остальной детворой следила, как посреди двора меряются силами Пепе и Лачо, управляясь с ножами и норовя задеть одного, хотя бы оцарапать до крови. Лачо ловкий, складный, хоть и помладше Пепе, веселый, а Растяпа злится после каждого промаха, крутится и много лишнего делает. Смех ребятни его приводит в ярость, а поделаться ничего не может, верткий Лачо не дает ему распугать мальчишек.

...«На другой день после сбора омелы Этне засобиралась в город, и Тэа начала проситься с нею. Этне была чем-то озабочена и поначалу не хотела брать подругу с собой, однако старшая жрица медленно кивнула в ответ на ее спрашивающий взгляд.

– Дайре приехал, – сказала она по пути, чем удивила Тэю.

– Тогда почему ты такая мрачная? Неужели он больше не по душе тебе?!

Этне слабо улыбнулась и отвернула голову. В прозрачно-голубых ее глазах томила печаль, которую все равно успела заметить новопосвященная. Они ехали ко двору, и по мере приближения к городу воздух становился заметно теплее и суше, равно как и смраднее. У обочин появились слоняющиеся бродячие собаки, которые настороженно поглядывали на посохи в руках девушек, раздумывая, стоит ли связываться с этими чужачками.

Дайре они нашли на площадке для тренировочных поединков у него за домом, где они с Кривым Брианом разминали кости и мышцы, порядком затекшие после долгой вчерашней

дороги. На лезвии спатхи Бриана извивались символы заклинаний, оружие Дайре было без всяких надписей: он никогда особенно не верил в чудеса, и то, как отступал сейчас под его натиском приятель, только лишний раз доказывало превосходство мастерства над суеверием. Только с повязанным когда-то ему на правое запястье наручем из лисьего меха никогда не расставался молодой вельможа – это был подарок ему от любимой Этне.

– Можно поздравить вас с новой филидой²? – едва приметив Тэю, весело воскликнул он, продолжая парировать удары Кривого, чтобы затем снова перейти в наступление.

² *Филиды* – поэты, провидцы у древних кельтов.

– Да, она теперь с нами, – Этне сжала в ладони руку своей воспитанницы и сразу заговорила о другом: – В темной пещере плача снова вздыбились черви, ибо сколь бы ни быть убитым, домой не придет покорный. Отворить мне вверено двери, отозвав от порога тени слуг с того берега жизни.

Бриан тут же встал, как вкопанный – заслышав речи из тайного языка жрецов, он поклонился противнику, отвернул свой меч и прицепил его к поясу. Тэа не поняла ни слова, а вот Дайре изменился в лице и кивнул уходящему Кривому Бриану, который не должен был присутствовать при разговоре посвященных.

С утра Дайре уже успел привести себя в порядок с дороги – начисто снять усы с бородой и вымыть темно-русые, аккуратно состриженные волосы – и теперь выглядел не старше своих двадцати трех лет, почти сравнявшись видом с двадцатилетней Этне. И глаза у них, у полукровок, потомков загадочных туатов, были похожи, как у родных – огромные, выразительные, в оперении густых черных ресниц, сияли они под гордо изогнутыми крыльями темных бровей.

– Сколько? – спросил он, подходя к девушкам.

– До следующей улыбки ночного солнца. Все, как предсказал в конце лета оллав Лабрайд.

Они с Этне долго смотрели друг на друга и обнялись, словно прощаясь»...

Браня соперника на чем свет стоит, оцарапанный Пепе ухватил с земли пригоршню пыльного песка и с размаха швырнул ее в лицо Лачо, а когда тот стал вытирать глаза, пырнул его ножом в бедро и только после этого удовлетворенно засмеялся. Мальчишки подняли ропот, но Растяпа даже не заметил их негодования и убрался, чувствуя себя победителем. Дженнаро помогла Лачо перевязать рану и вместе с другими мальчишками они довели покалеченного до кибиток.

– Сегодня едем во Флоренцию, – сказала табору донья Росария, пыхнув трубкой и скрывшись за пеленой табачного дыма.

Джен тогда в первый раз показалось, что бабушке нездоровится.

Глава седьмая

Страсти келейные

Был на исходе второй год ссылки Эртемизы в монастыре клариссинок в Ассизи, и за это время она успела узнать о семейных делах больше, чем при жизни в отчем доме. Из болтовни старших послушниц она случайно выяснила, что причиной отправки сюда было не столько ее возмутительное поведение с мачехой, сколько материальное положение Горацио Ломи, побавившегося, что к старшей дочери вот-вот начнут свататься, а у него не будет возможности обеспечить ее достойным приданым, и это, несомненно, навлечет позор в первую очередь на него как на главу семейства. Это известие больно кольнуло в сердце. Она не догадывалась еще об одном: отец не хотел утратить в ее лице помощницу и чаял таким образом отсрочить момент, когда нужно будет решать ее замужнее будущее. Сама Эртемиза с каким-то негодованием примеряла на себя пусть даже условную возможность стать чьей-то женой, но при этом заточение среди серых стен и серых монашенок она выходом не признавала.

Клариссинки считались одним из самых строгих католических орденов. «Коль скоро по божественному внушению вы сделались дочерьми и слугами всевышнего высочайшего Царя, Отца Небесного, и обручились со Святым Духом, избрав жизнь во исполнение святого Евангелия, хочу и обещаю от себя и от сестер моих всегда иметь о вас такую же усердную заботу, как и о себе, и особое попечение», – приговором прозвучал устав сестер св. Клары для только что поступившей в монастырь Эртемизы Ломи, и с этого дня томительное ожидание свободы сделалось ее постоянной мечтой.

По истечении года она удостоилась от аббатисы следующей характеристики: «Сестра Эртемиза не имеет ни малейшего представления о морали и нравственности, как если бы она воспитывалась не среди людей, а в местах диких и позабытых Создателем. Она задает вопросы, когда следует промолчать, и всматривается там, где любая благовоспитанная девушка на ее месте опустила бы глаза долу, покраснела и поскорее удалилась. Изредка появляется ощущение, что эта девочка не совсем здорова душевно». Такому мнению во многом поспособствовали жалобы наставниц, исправно отбиравших у синьорины Ломи ее ужасные рисунки, которые она тайно расталкивала по своей келье в надежде спрятать от чужих глаз. Не имея возможности изображать людей, Эртемиза перешла на зарисовки улочек Ассизи, куда их изредка водили под бдительным надзором старших монахинь. И тут-то она столкнулась с настоящей сложностью.

– Папа, что здесь не так? – спросила она Горацио, приехавшего навестить ее зимой, вскоре после Рождества, и протянула отцу свои уцелевшие эскизы.

Настоятельница выстрелила в нее уничтожающим взглядом, но вмешаться не посмела. Синьор Ломи долго листал зарисовки и наконец проговорил:

– Перспектива. У тебя нет перспективы ни на одном из рисунков, Миза...

– Перспектива? Как это?

– Я сам не слишком силен в этом, дорогая моя. Ведь мы с Аурелио портретисты, понимаешь? Для этого нужны более глубокие знания, я же могу дать тебе лишь поверхностное представление, а это не самый лучший способ научить.

– Заберите меня отсюда, папа! – шепотом взмолилась девушка и с презрением дернула рукав серой хламиды. – Я не могу больше носить это и видеть их, – она слегка двинула головой в сторону аббатисы, продолжавшей в отдалении наблюдать за ними.

– Пойми, бамбина, для тебя сейчас это полезно. Я не мог обеспечить тебя достаточным уровнем знаний, у меня не было денег на лишних преподавателей, а здесь ты хотя бы научишься хорошо читать и писать.

– Но в оплату за это они требуют, чтобы я разучилась рисовать.

– Этому нельзя разучиться. Поверь, после долгого воздержания мастерство художника выходит на новый уровень...

В следующий момент осознав двусмысленность произнесенной фразы, Горацио Ломи поперхнулся, кашлянул и смешался. Однако Эртемиза пропустила ее мимо ушей: после наблюдения за одной из послушниц, усердно набивавшейся к ней в подруги, такая чепуха уже не могла смутить юную затворницу. Цель так и осталась недостижимой, отец не откликнулся на жаркую мольбу и уехал домой, небрежно бросив на каменную скамью ворох испорченных бумаг. Не стесняясь хмурого взгляда аббатисы, девушка с возгласом досады смахнула карakuли на землю, разбросала их ногами, а после этого убежала к себе. Настоятельница покачала головой и подняла один из рисунков. Там отображалась улочка близ базилики ди Санта-Кьяра, очень узнаваемая, как бы ни ругала ее сама Эртемиза, с этими холмами вдалеке и деревцами вдоль монастырской стены. Ничего не понимающая в светском художественном искусстве, монахиня пожала плечами: ей эти наброски казались верхом совершенства, греховного, искустельного и порочного, но совершенства. Как и сама дочь синьора Ломи, еще недавно поступившая сюда нескладным отроком, а теперь – красавица, непристойно яркая даже в серой сутане клариссинок.

Строгости ордена поощряли к смирению только без того покорных девушек, многие из которых поступили сюда добровольно, стремясь избежать нежелательного брака или из-за удручающей бедности семьи. Но были здесь и другие.

В первый день в монастыре Эртемиза удостоилась внимания девочки постарше, звали ее сестрой Ассантой. Она была наследницей богатого аристократического рода, и на других послушниц взирала слегка свысока, капризно кривя чувственные пунцовые губки.

– Так что, наши сплетницы не врут – ты в самом деле рисуешь? – спросила она после первого же пения хором на клиросе, где их поставили рядом из-за сходства голосов.

Сестра Ассанта была утонченно красива. Беломраморная кожа ее лица не знала ничего о красной сыпи, уродовавшей многих сверстниц, а тело при невысоком росте к семнадцати годам уже полностью созрело, как у взрослой женщины. Ассанта казалась бы чересчур полной, не обладай она той дворянской статью, которая так роднила внешность истинных, многопоколенных вельмож с античными статуями эллинов и римлян. Самым же главным талантом этой девушки было умение искусно притворяться, подстраиваясь под ожидания нужных ей людей, поэтому в то время как все наставницы считали ее едва ли не святой, она могла почти у них под носом довести своим колким язычком до слез любую из сестер по монастырской жизни, и старшие монахини этого просто не видели.

Не моргнув глазом, она сразу же предложила Эртемизе написать с нее портрет. Надеясь обескуражить ее и привычным образом отбить дальнейшие попытки подобного рода, та ответила, что напишет, но лишь в обнаженном виде. Но в отличие от других девиц у Ассанты это вызвало прилив небывалого энтузиазма, который обескуражил, наоборот, саму синьорину Ломи.

– В мою комнату почти не заходят, поэтому мы можем начать в любое время, когда тебе удобно.

Натура Ассанты Эртемизу не особенно интересовала: совершенство ее форм ничем не отличалось от идеальности скульптурных богинь древности, и для любого художника рисование такого образца было бы сродни возвращению в школярство, однако же сходу отказать надменной красотке она сочла излишней грубостью, а оттого уклончиво согласилась, окрестив ее про себя авелинской кобылой.

Сговорились они на вечернее время, за час до заката, когда еще можно различить линии на бумаге, не разжигая свечей. Эртемиза пришла чуть раньше и обнаружила, что крючок на двери кельи Ассанты не наброшен в петлю, а сама дверь даже слегка приотворена. Разминая в пальцах хлебный мякиш, она задумчиво шагнула внутрь и уже хотела было оклик-

нуть хозяйку комнаты по имени, как вдруг увидела то, что остановило готовое сорваться с губ слово, а саму Эртемизу, выхватившую бумагу и уголь, заставило тихонько затаиться в простенке между дверью и основной частью помещения.

Ассанта полусидела на своей постели, расслабленно откинувшись на подушку и запрокинув светловолосую голову. На четко освещенном закатными лучами лице ее царило выражение, которое Эртемиза не могла бы назвать с уверенностью обычным удовольствием: это была скорее смесь какой-то непонятной муки с отрешенным от всего окружающего восторгом и счастьем, а рука юной клариссинки блуждала под юбкой, настойчиво проделывая странные движения между слегка раздвинутых ног. Не в состоянии разобрать, как именно орудует Ассанта рукою, Эртемиза перенесла свое внимание на более интересные детали – ее удивительную мимику – и начала делать быстрые наброски, стоя и прямо на весу: после экзерсисов с Алиссандро в роли натурщика ей не создавало ни малейшего труда виртуозно управляться с бумагой и углем в самой неудобной позе. И это выражение лица Ассанты она безошибочно распенила как что-то крайне порочное, за что им грозят огромные неприятности, если хоть кто-то сейчас войдет сюда и увидит, что здесь происходит. Несмотря на угрозу разоблачения, Эртемиза не могла оторваться от своей работы, чтобы хоть закинуть дверной крючок в петлю, уголек в ее пальцах порхал, вычерчивая линии, но его скрип перебивался сладким постаныванием юной грешницы, колотившейся в судорогах на кровати. Синьорина Ломи могла бы держать пари, что в точности так же каталась по земле их кошка, сожрав однажды из-за своей глупости крысиную отраву и жестоко подыхая от действия мощного яда, разве что изо рта Ассанты не хлестало при этом никакой пены. Зато глаза ее в точности так же заволокло предсмертной пеленой, а ноздри дрожали, как у загнанной лошади. Эртемиза слегка хмыкнула от забавности этого сравнения и вжала голову в плечи. И это у них считается верхом греховного наслаждения, коим так пугают юных девиц? Господи Всевышний, ну и странные они, эти люди-взрослые, от которых ей приходилось скрывать своих противных, но в сущности безобидных «альтраунов»: те уж, во всяком случае, никогда не прыгали перед нею в конвульсиях умирающей кошки и не пихали себе руки куда ни попадя. Это зрелище смешнее, чем балаган на ярмарочной площади в праздничные дни! Кошку было жалко, а вот над глупой Ассантой хочется хихикать, и Эртемиза хихикала бы, если бы не боялась вспугнуть ее до окончания наброска.

– Ну и что же ты там встала? – не раскрывая глаз и не шевелясь, томно протянула вдруг Ассанта. – Что ты делаешь?

Хорошо размятым хлебным мякишем Эртемиза вымокнула из бумаги неудачную линию излишне черкнувшего вбок уголька и подала ей зарисовки. Девушка оправила юбку и, подскочив на локте, принялась жадно разглядывать изображения и смеяться:

– О, это чудесно! Просто экстаз, о котором мечтают наши наставницы. Только они надеются обрести его за молитвами, вот дурочки! Я видела такое только на лицах статуй святых в храмах и на картинах. Это великолепно, сестра Эртемиза, это великолепно! А ты... пробовала?... – и на отрицательный жест Эртемизы оживилась: – Это, конечно, не сравнится с настоящими ласками, но здесь эти старые дуры не спускают с нас глаз, да и если бы спускали – из мужчин сюда наведывается только дряхлый мастеровой, ему уже лет сто, наверное, или больше! – Ассанта сочно хохотнула, прокатилась по разбросанной постели, а потом быстро сбросила верхнее и нижнее платья, оставаясь вовсе обнаженной: – Я готова, скажи, как мне сесть.

Она долго еще утомляла Эртемизу своей болтовней, добиваясь от той откровений и удивляясь, когда узнавала, что она не только не была еще в близких отношениях с кем-то из мужского племени («Как это любопытно, я в твоём возрасте...»), но даже и не целовалась («Ах, ну этому уж я совсем не поверю! Ты не шутишь?...»).

– Ты оставишь мне эти картины? – спросила она, когда уже стемнело и когда юная гостья засобиравалась к себе.

– Да, конечно.

– Мне понравилось. Может быть, нам стоит с тобой подружиться?

Эртемиза вяло кивнула. Она не привыкла дружить с девочками. Единственной подругой она могла бы счесть молодую служанку Абру, не так давно попавшую в их дом и уже затеявшую интрижку с Алиссандро, благодаря чему им было проще скрывать свои уроки в амбаре, заполучив черноглазую тосканку в надежные союзники.

Когда Ассанта попыталась в знак благодарности поцеловать ее в щеку, Эртемиза вывернулась и стремглав убежала по темному коридору к себе.

Странное состояние обволакивало ее. Это была неприязнь, причем неприязнь к самой себе, поощряемая «альраунами», которые приползли в келью поглумиться над ее растерянностью. Новоявленная послушница ругала себя за то, что не смогла отказаться от обременительного приятельства с этой навязчивой девицей, и за то, что в глазах самой девицы предстала какой-то нелепой диковиной, далекая от всех ее интересов и вообще интересов других сверстниц. Наверняка та смеялась над нею так же, как смеялась сама Эртемиза, сравнивая ее с подыхающей кошкой во время рисования набросков. А еще этот вопрос – «а ты... пробовала?»

Когда «страхолюды» наконец убрались, решив, что юная синьорина Ломи уже задремала, девушка осторожно сунула руку под сорочку, провела по внутренней стороне бедер и коснулась промежности, строение которой, в общем-то, было ею достаточно хорошо изучено раньше и не вызывало более никакого интереса в области конструкции людского тела. Изображать это было не принято, а все, что не могло быть переложено на язык рисунка, Эртемиза всегда отводила на второстепенный план. Сейчас, при этом прикосновении, она вдруг испытала еще более жестокое отвращение к себе и своей плоти, ее будто обожгло. Это было и ужасно неприятно, и как-то... глупо. Чтобы поскорее избавиться от неуютного чувства, она оставила себя в покое, оправила подол и с досадой сжала руку в кулак. Нет, наверное, ей и в самом деле не понять удовольствий, доступных Ассанте и другим девушкам. Алиссандро был прав – она не от мира сего. Но ведь это не нарочно!

Напоследок Эртемизе стало очень себя жалко, глаза загорелись от слез, и, выплакавшись в подушку, она заснула. Так прошла ее самая первая ночевка в монастыре клариссинок.

Глава восьмая

Эстетические взгляды вдовы Мариано

«Лисица вынырнула из-за кустов и, замерев на полусогнутых лапах, уставилась на Тэю. Тогда-то молодая филида и поняла, что это Этне сейчас что-то хочет сообщить ей через своего духа, но слишком еще слабы оказались умения Тэи: она не смогла прочесть в изжелта-серых глазах зверя послания подруги. Одно было понятно – они с Дайре сейчас в опасности там, куда направили их старшие жрецы круга.

Тэа уселась прямо наземь, скрестив ноги калачом, а лисица продолжала следить за нею, но не шевелилась, словно ее настигло заклятие полного оцепенения. Под рукавом дорожной хламиды на запястье девушки скрывался наруч из лисьего меха; эти украшения Этне подарила им с Дайре в один день с наставлением не снимать никогда, и сейчас кожа вокруг пушного браслета зудела и горела. Когда же Тэа сдвинула рукав, то увидела, что вены от запястья до локтя вздулись, обвили тонкую руку голубоватыми извилистыми жгутами и даже как будто светятся изнутри колдовским отблеском. Не вставая с места, тонким прутом очертила филида вокруг себя неровный круг. Тогда-то лисица раздраженно дернула вверх кончиком хвоста, очнувшись, сделала несколько шагов навстречу и села в точности у черты, не боясь более сидящего перед нею человека.

Много опасных вещей подстерегают в Священной роще, если говоришь через посредство тайного мира, холод обволакивает тебя смертельными оковами, и если не защититься, не призвать проводника, то можно навсегда остаться неподвижным камнем в этой унылой юдоли перекрестка многих миров – Серой пустоши. «Веди!» – и лиса, дрогнув ушами, повела ее за собой в бесконечный тоннель, сплетенный колючими ветвями терновника, такими густыми, что здесь царила постоянная фиолетовая мгла полуночи.

В конце коридора Тэа увидела все. Какие-то смуглые люди в доспехах вели Дайре и Этне, подталкивая древками копий ее и покалывая остриями в спину и плечи его, да так, что одежда его изорвалась и пропиталась кровью. Значит, люди цезаря действительно пошли на вероломство – захватили парламентаров в плен еще до начала переговоров. Никакого соглашения уже не будет, война придет в эти края...

Лисица села рядом почесать за ухом задней лапой. Глаза ее сузились еще сильнее, и недоброе пламя промелькнуло в коварных щелках зрачков, а от неудовольствия она даже тявкнула на девушку, чтобы поторопить.

Тэа вернулась, дрожа от холода и страха. Ближе Дайре и Этне у нее не было никого в человеческом мире, объединенные духом покровителя, они трое замыкали малый круг посвященных, и хотя таких кругов было огромное множество на их землях, Тэа больше нигде не найдет замену своим лучшим, священным друзьям. До скончания веков она вынуждена будет скитаться в поисках их душ и, воплощаясь ради этого в своих потомков, не сможет найти без тех знаний, что не успела передать ей Этне – а никто другой, даже самые старшие учителя, не смогут сделать это вместо нее, никогда, никогда»...

Обнимая руками колени, Дженнаро смотрела, как тают снежинки на подлете к пламени костра. Недавно умерла бабушка Росария, в тот день, когда Джен исполнилось девять, хотя никто не знал точного числа ее рождения, просто решили, что это будет в январе. И перед смертью старая цыганка успела поведать ей тайну странного имени, связанного с месяцем середины зимы, в котором много лет назад девочка из чужого народа появилась в их таборе.

– Тебе, чаюри – парно муй¹, нужно притворяться мальчиком долго, как можно дольше, послушай меня, – говорила Росария сидящей у ее постели Джен, впервые обращаясь к ней как к девочке, и уже не видела ее слепнущими глазами. – Ты подкидывай у нас, на тебе тогда

были дорогие, добрые одеяния. Ты, верно, была из знатного рода, и к своим тебе нужно идти, чаюри, к своим, джюкэл джюклэс на хала², мир не без добрых людей! Без меня никто здесь не позаботится о тебе, уходи к своим.

¹
«девочка – белое лицо» (цыганск.)

²
«пес пса не укусит» (цыганск.)

Слова эти так подействовали на Джен, что она не могла пошевелиться даже после того, как старуха отдала душу Дуввелю и другие цыганки во главе с плясуньей Чиэриной пришли готовить умершую к погребению.

И вот нынче Дженнаро Эспозито, январский подкидыш, в последний раз сидела у общего костра, уже зная, что к утру ее здесь не будет, но не ведая, куда идти и что делать потом.

Едва заснеженные улочки Флоренции проступили из темноты стенами старых зданий, Джен завернулась в усеянное заплатками пончо покойной бабки и пошла куда глаза глядят, подумывая навсегда покинуть этот город, хотя из множества виденных городов этот понравился ей больше всех – спроси ее кто-нибудь, где лучше оставаться, и маленькая акробатка сказала бы, что во Флоренции, родине тысяч творцов и десятков дворцов.

К обеду ноги вывели ее на площадь Сантиссима Аннунциата, и головокружительный запах похлебки, доносящийся вместе с ветром откуда-то со стороны церкви, заставил Джен прирасти к мостовой, вглядываясь в керамических младенцев на рельефных медальонах фасада Ospedale della Innocenti. Она не знала, что это воспитательный дом для незаконно-рожденных и сирот, ей просто нестерпимо хотелось есть, а съестные ароматы были так соблазнительны, что сняться с места не было никаких сил.

Приют Невинных был не слишком высоким, но зато протяженным зданием, окружавшим дворик, в котором сейчас царила какая-то суета и доносились женские крики. Всплескивая руками и глядя куда-то на крышу, мимо Дженнаро пробежала немолодая синьора в черной накидке, отороченной мехом чернубурки.

– Святая Мадонна! Спаси и помилуй! – причитала она.

Посмотрев туда же, куда таращились высыпавшие из Приюта зеваки и сама дама в черном, Джен увидела кота, белого, как снег. Вероятно, глупое животное пыталось перепрыгнуть с одного яруса крыши на другой, но поскользнулось на льду, промазало и теперь, воя от страха, извивалось на карнизе, цепляясь из последних сил за щели в черепице.

Цыгане недолюбливают собак и совсем уж презируют бесполезных для кочевников кошек, поскольку эти звери ко всему прочему вылизывают себе задницы, и оттого они моккади (нечистые). Ни один цыган не станет пить воду вблизи того места, где ее лакал пес или кот, зато без малейшего сомнения напьется из одной посуды с конем. И будь сейчас вокруг мальчишки из их табора, Дженнаро вместе с ними улюлюкала и свистела бы коту, а потом смеялась, когда он наконец брякнулся бы вниз, однако нажитая за эти годы практическая сметка подсказала девчонке, как поступить. Она спокойно подошла к черной синьоре и подергала ее за рукав – ткань одежды была мягкой-мягкой, наверное, очень дорогой и теплой, не то что драное пончо Росарии.

Женщина повернулась к ней и дальнотерко отстранилась, чтобы разглядеть. В руке ее появилось какое-то приспособление с круглым стеклышком, через которое она воззрилась на Джен, и глаз ее в стекле при этом стал значительно больше второго.

– Синьора, если я достану вашего кота, вы сможете накормить меня? – спросила та.

– Да, малыш, конечно! Но как ты сможешь это сделать? Джованни побежал за лестницей...

– Не нужно. Я быстро.

Зеваки так и охнули, когда Дженнаро с разбега вскарабкалась на самый нижний ярус крыши над анфиладой. Отсюда ей не было видно кота, но зато дурная скотинка так блажила, что девочка уверенно шла на голос. Здесь и в самом деле было очень скользко: черепица обледенела за прошедшую снежную ночь. Однако надежда на похлебку подстегивала Джен. Она ставила ноги так, чтобы они не разъехались при перебежках, и вот увидела несколько удобных выступов, по которым можно было перебраться еще выше. Снизу ей что-то кричали, но девочка не обращала внимания, на своей шкуре испытал, как умеет отвлекать публика, когда ты выполняешь что-то опасное.

Выступай она сейчас перед толпой на канате, грубые и неудобные башмаки пришлось бы скинуть, рискуя сорваться на окоченелых ногах. Но твердые выступы стен Приюта обманчиво казались надежными, Дженнаро переоценила их, оступилась и сорвалась, напоследок успев зацепиться лодыжкой за какой-то крюк и повиснув вниз головой над покатою нижней крышей. Синьора в черном заголосила еще сильнее, чем на своего кота. Для Джен, однако, это был настолько рядовой случай, что даже сердце ее не успело екнуть, как она, изогнув гибкое тело, вытолкнула сама себя на спасительный карниз. Скребуший когтями кот был уже совсем близко, но добраться до него было не так легко: их разделяла высокая печная труба. Дженнаро прикинула пути доступа на верхний уровень, поняла, где поскользнулся кот, и побежала в обход, увидев вдалеке несколько труб, по которым можно было бы перебраться выше.

Минуя одну за другой легкими прыжками, Джен наконец оказалась наверху. Двускатная крыша была засыпана толстым слоем мокрого и обледенелого снега, который так и плыл из-под ног, обрушиваясь вниз. Девочка на четвереньках добралась до конька и, расставив ноги по обе стороны – для безопасности, поковыляла к большой трубе. Иногда ноги все же соскальзывали, приходилось хвататься руками за скат, но завершить путешествие удалось довольно быстро. Кот был уже в двух шагах, когда Дженнаро вдруг поняла, что по своей безмозглой натуре эта тварь сейчас издерет ей руки в клочья. Недолго думая, она сорвала с себя пончо старой цыганки, швырнула его на обезумевшее животное и, сграбастав в охапку весь этот верещащий ворох, под аплодисменты зевак спустилась вниз по уже намеченному пути.

Синьора странно смотрела на Джен через свое стеклышко, когда та, усевшись за стол на кухне Приюта, торопливо орудовала ложкой. Даму звали Беатриче Мариано, это была бездетная вдова декана кафедры математики Пизанского университета: ее муж в свое время читал лекции студентам, среди которых был Галилео Галилей, по сей день навещавший с почестями донью Мариано, будучи наездами во Флоренции. Когда-то у четы Мариано были дети, но все до одного умерли, в том числе самый любимый, младший, синеглазый Луиджино, скончавшийся много лет назад от оспы. Именно его она, полуслепая от старческой дальнозоркости, углядела сейчас в лице этого беспризорного мальчишки, одетого, словно цыганенок и, как всякий предоставленный себе сорванец, не умеющего себя вести. Синьору Беатриче удивило то обстоятельство, что имя и фамилия у маленького парии были не цыганскими, но они подтверждали сиротское происхождение героя нынешнего дня, о котором говорили нынче во всех углах Ospedale della Innocenti. Помогаящая приюту из добрых побуждений, богатая, но неприхотливая вдова декана неожиданно для себя решила, что этот бездомный мальчуган останется у нее, и она даст ему все, что не смогла дать рано умершему Луиджи – воспитание, образование и материнскую любовь. Средства у нее были, дело оставалось лишь за малым: за согласием самого Дженнаро.

Стоит ли говорить, что благоразумная Джен не стала отказываться, хорошо при этом помня слова старой Росарии – бесчестный цыган долго головы не пронесит. И ей хотелось отплатить добром этой странной, но, кажется, добросердечной женщине. Вот разве что признаваться в том, кто она на самом деле, девочка покуда не собиралась, а сама синьора Мариано вроде бы так ничего и не углядела, равно как и все остальные, уж слишком привыкла Дженнаро Эспозито быть мальчишкой.

Прежние знакомые их семьи, люди заслуженные и уже ушедшие на покой, немало подивились просьбам Беатриче, которая, не откладывая в долгий ящик, стала обращаться к ним по поводу уроков, в необходимости коих для ее совершенно неграмотного, но смекалистого воспитанника она была уверена. Рано или поздно, но все друзья покойного мессера Мариано согласились с ее доводами, и на исходе весны Беатриче заметила, как изменился за эти месяцы умненький Дженнаро. Он уже немного умел писать какие-то каракули, напоминающие буквы и цифры, слегка читал по слогам и перестал сопротивляться, когда она настойчиво перекладывала столовые приборы у него в руках сообразно этикету.

Джен соглашалась на все это не без умысла: ей очень хотелось записать историю Тэи, Этне и Дайре буквами на бумаге, как это делали солидные взрослые мужи. Она настолько часто придумывала про них сказки, что эти люди были для нее как будто живыми старыми знакомыми, а не плодом пустых фантазий. Но, напевая песенку филиды, как та звучала у нее в голове, Джен даже не подозревала, что навлечет на себя очередной виток забот опекунши. Услышав ее хрустальный голос, удивительный не то что для мальчика, но даже и для девочки-певуны, донья Мариано бросилась искать поддержки у человека, которого знала не так уж давно, благодаря все тому же Приюту, куда тот захаживал по работе, и который мог бы ей в этом очень помочь.

Звали его Шеффре, он был кантором, давал уроки музыки – в том числе, детям Приюта – и был, судя по всему, человеком честным, смирным и каким-то немного не от мира сего. Словом, в точности таким, как и прочие друзья семейства Мариано.

Маэстро уже собирался уходить, когда Беатриче привела своего воспитанника в Оспедале дельи Инноченти и поймала учителя буквально в дверях. Дженнаро пригляделась к нему, как делала это всегда в отношении незнакомцев, и сразу поняла, что очень похожим на него ей виделся тот самый полукровка Дайре из волшебной сказки. Лучи солнца упали в окно так, что пронизали светлые глаза кантора до самого дна и растворили в них все оттенки цвета, словно в переменчивом аквамарине, остались лишь сузившиеся черные зрачки, придавшие взгляду Шеффре магическую зловещесть, которая тут же и сгинула, как только он улыбнулся донье Мариано. Едва ли синьор заметил при этом Джен: та, памятуя наставления бабушки Росарии, слегка «спряталась», поскольку желала наперед разведать, что да как. Не слишком-то ей хотелось заниматься скучным музыкальным ремеслом, ведь одно дело горланить песенки на улице, а совсем другое – учиться делать это по всем правилам. Если еще и учитель окажется жутким занудой, то и подавно хоть сбегай из гостеприимного дома опекунши.

Кантор Шеффре выслушал просьбу вдовы и пригласил в учебную комнату. Джен огляделась не без любопытства, ведь у большинства имевшихся тут инструментов она не только не ведала названий, но даже и видела их впервые в жизни. Здесь было уже не так светло, как в вестибюле, и глаза кантора обрели более свойственный человеку светло-серый цвет. Он был не по моде чисто выбрит, не носил никаких украшений и не мог бы похвастаться роскошью наряда: на нем был темно-синий бархатный камзол без особых затей, синие же бархатные панталоны, простой, без кружев, воротник белой льняной сорочки свободно лежал на ключицах, а на ногах ловко сидели хоть и дешевые и неновые, но изящные туфли. Дженнаро всегда представляла себе музыкантов разодетыми, как вельможи, иногда приезжавшие поглазеть на выступления цыган и почти никогда не покидавшие своих карет, поэтому более чем скромный вид учителя музыки слегка ее разочаровал. Во всяком случае, Дайре в ее воображении одет был куда богаче и затейливее, и такая одежда очень шла к его ладной фигуре, в точности такой же, как стать этого впервые встреченного человека.

– Хорошо, я готов его послушать, – согласился кантор, усаживаясь в кресло и складывая длинные пальцы красивых крепких рук в замок.

Голос его был тихим и таким же мягким, как его бархатный костюм и каштановые, не слишком коротко стриженные волосы. Беатриче подбадривающе похлопала Джен по спине, а потом слегка подтолкнула ее вперед:

– Мальчик мой, спой ту самую песню, которую пел в прошлый раз.

Дженнаро начала было, поперхнулась, кашлянула и в смущении начала заново. Кантор слегка сощурился, склоняя голову к плечу. Глаза его потемнели еще сильнее, обретая небесный оттенок, и взгляд выражал внимательное удивление.

– Что это за язык? – спросил он, дослушав до конца.

– Это цыганское наречие, – объяснила Беатриче вместо не успевшей ответить Джен. – Он прежде воспитывался в таборе, синьор Шеффре.

Кантор и Дженнаро посмотрели друг на друга долгим взглядом, и учитель медленно покачал головой:

– Да нет, в том-то и дело, что это не на цыганском...

Дженнаро опустила глаза:

– Да, сер. Я сам выдумал эту песню, это никакой не язык.

– Я так не думаю. Донья Беатриче, хорошо, я возьму его в ученики.

Хорошо запомнила Джен их первый урок, когда с любопытством слушала его неспешный рассказ об истории нотной грамоты, сочиненной бенедиктинским монахом Гвидо Ареттинским в незапамятные времена. Это он, Гвидо д'Ареццо, начертил однажды на четырех линейках восходящие звуки октавы, дав им обозначения по первым слогам гимна Святому Иоанну, покровителю всех музыкантов.

– Каждая следующая строка поется на тон выше предыдущей, – говорил, мягко касаясь клавиш клавесина, кантор Шеффре. – Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, SI: «Чтобы рабы твои в полный голос могли воспеть чудеса твоих деяний, прости им их греховные уста, Святой Иоанн»³.

И тогда Дженнаро поняла, что музыка ей, пожалуй, понравится. Если, конечно, учитель со временем не окажется таким же суровым, какой была бабушка Росария – натерпелся от нее «январский подкидыш» на всю оставшуюся жизнь, и больше не хотелось.

3

Гимн, сочиненный около 770 года от Р. Х. Павлом Диаконом, на латыни звучал так:

Ut queant la xis

Resonare fibris

Mira gestorum

Famuli tuorum

Solve poluti

La bii reatum,

Sancte Iohannes!

Глава девятая

Реликвия

Служанку звали Амбреттой, а прозвище Абра она получила из уст дядюшки Аурелио, известного своими выдумками балагура, который всегда не прочь поиграть словами и смыслами, будучи куда образованнее своего кузена, часто покупавшегося на звучные названия и попадавшего впросак, как это вышло с именем старшей дочери. Не являясь сведущим в учебных терминах, Горацио окрестил ее в честь богини охоты, чем несказанно потешил двоюродного брата, усмотревшего там не Артемиду, а полынь, придорожный сорняк, из которого аптекари делали всевозможные лекарственные снадобья, горькую и едкую, точно желчь.

«Амбра означает всего лишь „янтарь“, но зато с именем служанки Юдифи ты будешь выглядеть куда значительнее в глазах остальной дворни. Разве не забавно?» – воскликнул синьор Ломи-старший, впервые увидя веселую тосканку по приезду в дом родственника, где теперь распоряжалась обрученная с Горацио Роберта, и не преминув ущипнуть служанку за упитанный бок. Так Амбретта сделалась Аброй, и первой, кто подхватил эту затею, была запертая в ассизском монастыре Эртемиза.

Картина Караваджо все не шла у нее из головы, она мечтала о том, как могла бы написать свою «Юдифь», но сюжет не складывался перед глазами, а повторить затею Меризи в точности так, как это сделал он, Эртемиза не желала. Далеко не все ей нравилось в позах караваджиевских персонажей: много раз ей доводилось видеть, как орудует с тесаком их кухарка, справляясь с огромными кусками мяса к приезду многочисленных гостей на какое-нибудь торжество; и если бы Бонфилия так держала нож, как держит его на полотне Юдифь Меризи, она вряд ли отсекла от кости и сухожилий хоть кусок мякоти. Зная (по отцовским рассказам) об умениях Караваджо обращаться с холодным оружием – а тот был непревзойденным мастером клинка, и лучше у него получалось лишь управляться кистью, – Эртемиза поражалась этой вычурной неправдоподобности позы библейской красавицы с картины. Он словно говорил: «Я – сделал. Вы – мучайтесь». Появись у нее такая возможность, это было бы первое, о чем она спросила мессера при встрече. Отсечением единственной головы он заставил ломать собственные головы многих.

Второй раз отец наведлся к Эртемизе не один, Абра уговорила хозяина взять ее с собой, поскольку соскучилась по молодой госпоже – во всяком случае, так она сказала ему. Увидев друг друга, девушки обнялись и расплакались, отчего Горацио затряс головой. Обе что-то говорили, наперебой целуя друг друга в щеки.

- Ах, какая вы стали, синьора! Какая вы стали!
- Абра, дорогая моя, как же тебе там живется?
- Все хорошо, мона Миза, все хорошо, а как вы здесь?
- Ужасно, я ненавижу этих монашек.

Они засмеялись и снова заплакали, и снова засмеялись. Утомленный их кудахтаньем, Горацио отправился к настоятельнице, оставив девушек вдвоем. Едва это произошло, Абра исподтишка огляделась и, сунув руку под корсаж своего платья, вытащила оттуда засохшую ветку серебристой полыни со словами:

– Это вам велел передать Алиссандро, мона Миза. Он сокрушался, что не обучен грамоте и не может написать вам на бумаге. Но сказал, что вы поймете.

Эртемиза прикрыла глаза и, приложив ветку к губам, вдохнула терпкий полынный аромат. И впервые в жизни ее вдруг охватила странная истома, да такая, что захотелось так же, как тогда Ассанта, кататься кошкой по кровати и стонать. Она моргнула, стряхивая наваждение, и круглыми глазами уставилась на хитро подмигнувшую ей служанку. Алиссандро, плут, ты знаешь, как мне здесь плохо, и только дразнишь меня запахом свободы...

Абра рассказала, как дела дома, как помыкает всеми Роберта и как они с господином Карло и Алиссандро скучают по ней, по Мизе.

– Они даже сговаривались вас похитить отсюда, синьора, но я их заругала и пригрозила пожаловаться старшим хозяевам, если не послушают.

– Правильно, Абра, правильно, они сумасшедшие.

– А ваши братья, мона Миза, какими они стали большими! Франческо теперь пользуется вашим мольбертом и помогает синьору вместо вас...

Эртемиза испытала мучительный укол ревности прямо в сердце. Ческо, маленький тихоня, занял ее место, а о ней самой уже позабыли, и все из-за этой старой самодурки-мачехи! Неужели ее похоронят в проклятом монастыре, на всю жизнь оставят с монашками и их бессмысленными, тянущимися с утра до ночи, молитвами? Если бы святое слово имело хоть какую-то силу, разве проникли бы под сень богоугодного заведения нечистые «альрауны», ощущая себя здесь как дома и ни в чем друг другу не отказывая?! Только благодаря им Эртемиза за прошедшие полтора года еще не потеряла надежду когда-нибудь выбраться из заточения на волю: «страхолюды» шептали ей о том, что скоро отец образумится и снова начнет нуждаться в ней, надо только набраться терпения и не раскисать понапрасну. Они теперь все меньше ерничали и все больше сочувствовали, хотя сблизиться с Эртемизой не пытались. Но насмешек со стороны «альраунов» уже почти не бывало. Об их природе не так давно рассказывала ей начитанная и с детства образованная Ассанта: оказывается, народная молва гласит, будто бы эти создания рождаются из корней мандрагоры точно в тех местах, где в землю падает последнее семя казнимого на кресте преступника – тогда, когда ему ломают хребет. Но доверять рассказам подружки Эртемиза не решалась, поскольку в мыслях Ассанты охотно селились только всякие ужасающие непристойности, о которых она могла говорить круглые сутки, пытаясь подбивать девчонок на рискованные вылазки из монастыря под покровом ночи. Историю с казнью и мандрагорой она, конечно же, придумала сама своим извращенным воображением, а вовсе не народ, Эртемиза в этом не сомневалась. «Это где же напасть столько мандрагоры? – спросила она Ассанту со всей простотой своего невежественного сознания. – Я уж скорее поверю, что там вырастет какой-нибудь придорожный степной сорняк»... Та в ответ лишь безразлично пожалала полными плечами. Она не любила спорить.

Эртемиза еще не знала, что спустя много лет будет тосковать по этой ее безумной фантазии, ткущей какой-то свой, нереальный мир словно бы независимо от хозяйки, особы приземленной и практичной, у которой на все было готово собственное мнение, высказываемое только раз и больше уже не повторяемое, ибо разубеждать ее не имело смысла. Именно в таком тоне Ассанта заявила и при упоминании подругой мифического щита Леонардо следующее:

– Медуза Горгона никогда не была женщиной, это был мужчина. В женщину ее превратила легенда.

– Но почему?! – изумилась Эртемиза, которая и помыслить не могла такого.

– Посмотри, как они все его изображают. Разве могут быть такие глаза у женщины? Посмотри на переносицу, на это средоточие воли. Это не женская воля, разве ты не замечала? Ты ведь видела Горгону Меризи Караваджо?

– Да, но...

– Это женщина?

Эртемиза растерялась. Она помнила эту отсеченную голову, хлещущие из нее струи крови, змеящиеся волосы, полные ужаса глаза, взгляд которых мессер намеренно отвел вниз, в сторону от зрителя, чтобы они не встретились взглядом. И в лице ее угадывались равно как женские, так и мужские черты, в чем-то даже сходные с ним самим. Мгновение – и мертвые полуприкрытые веки поднимутся, зрачки нальются магической синевой потустороннего мира, замерцают, и из черных тоннелей вырвется на свет такое...

Больше Ассанта к этому разговору никогда не возвращалась, но Эртемиза все-таки предпочла счесть это вечной помешанностью сестры-послушницы на плотских утехх.

Отец и в этот приезд не поддался на уговоры дочери и не забрал ее из монастыря. Он лишь сообщил, что договорился с настоятельницей, и Эртемизе будет позволено рисовать в отведенные часы, не таясь от наставниц по углам, как ей приходилось это делать прежде. Вот только помочь ей с постижением хитростей перспективы он был не в силах. «Возможно, у меня что-то получится, – туманно обмолвился он на прощание. – Ко мне должен приехать один флорентиец – посмотрим, как нам удастся с ним договориться».

Так прошло еще больше полугода, в течение которого Эртемиза, пользуясь соизволением аббатисы, смиренно писала мадонн с младенцами и разрабатывала руку, делая эскизы женских лиц с монахинь и послушниц, не отказывавшихся позировать.

И вот в разгар лета, точно в ночь ее семнадцатилетия, девушке сквозь сон слышался вдруг шепот, который она приняла за один из голосов «альраунов»: «Десять дней – и я уйду». Эртемиза раскрыла глаза, напряженно вглядываясь в темноту. Тут над монастырем ударил раскат грома, и разразилась гроза, но с мерцанием молний она никого не увидела в своей келье. Прочитав молитву, она попыталась уснуть снова, однако в непрестанном грохоте и вспышках ей это не удавалось, хотя голову неумолимо клонило к подушке.

– Здесь ли ты? Поддай голос!

Она замерла, боясь оглянуться, и уставилась в стенку. При новом всполохе на миг, всего лишь на один миг, там обрисовалась тень – очертания мужского силуэта.

– Я здесь, – прошептала Эртемиза, ни жива, ни мертва.

Кто-то коснулся ее плеча:

– Протяни мне свою левую руку.

Шепот... Этот шепот завораживал и очаровывал сильнее взгляда самой Медузы. И она знала, что не посмеет обернуться, чтобы не встретиться с Ним взглядом. Послушно подала руку, и что-то холодное сомкнулось повыше запястья:

– У каждого оно свое, это – твой. Теперь ты должна будешь нести его до конца, как нес Назаретянин свой крест, и так же, как крест, он будет терзать твои плечи, отгоняя покой. Не забывай – все будет так с нынешней ночи.

Он склонился к ней, она услышала дыхание возле самого уха и совсем оцепенела от ужаса и – одновременно – волшебного томления. Отведя с ее шеи прядь распущенных волос, таинственный гость медленно коснулся губами кожи, скользя от мочки уха к плечу, и последний поцелуй – в само плечо – был долгим, таким долгим и нежным, что Эртемиза тихо застонала. Как ей хотелось, чтобы это продолжалось...

– Прощай.

С Его исчезновением руку обожгло. Девушка вскрикнула от боли. В темноте на ее руке светился словно бы раскаленный докрасна браслет – не широкий, но и не узкий, состоящий из отдельных сочленений в виде округлых золотых звеньев. «Браслет Артемиды!» – сам собой пришел в голову ответ. Глаза ослепила вспышка, а когда Эртемиза раскрыла их снова, это оказался луч солнца, нырнувший в окно. Не было уже никакой грозы, а все, что здесь происходило, оказалось прудутренным сном.

И только левая рука странно зудела повыше запястья. Эртемиза в замешательстве уставилась на странные красноватые пятнышки, что опоясали руку. Кожа выглядела обожженной, и каждое из пятен имело округлую форму довольно крупного размера. Постепенно боль проходила, а ожоги побледнели, сжались и вскоре вовсе пропали.

Через месяц за нею приехал отец, сообщив, что обо всем сумел договориться и что ее ссылка окончена. Эртемиза так ликовала, что сначала не придавала особого значения, когда по дороге, уже в карете, Горацио рассказал о смерти Караваджо в тосканском Порто-Эрколе.

– Поговаривают, что лихорадка, но кто знает, кто знает... – он сокрушенно покачал головой.

Эртемиза осенила себя крестным знаменiem и вздохнула:

– Прими, Господи, его душу. А сколько ему было, папа?

– Точно не знаю... Около сорока. Может быть, и лихорадка... чего не случается...

Левую руку слегка кольнуло. Девушка вздрогнула, пытаясь припомнить ускользающую подробность – так, вроде бы, мелочь, но из тех мелочей, из-за которых не находишь себе места:

– Когда это случилось?

– Если не врут, то в прошлом месяце, числа восемнадцатого...

Молния вспыхнула и погасла. Эртемиза опустила глаза. «И так же, как крест, он будет терзать твои плечи, отгоняя покой».

Глава десятая

Немного о Сатирах

После переезда семейства Ломи на другой берег Тибра добираться домой из дальних поездов стало значительно труднее. Сер Горацио особо не скрывал, что решение покинуть насиженное место было связано с желанием жить как можно ближе к деловому партнеру, который оказался так изворотлив, обаятелен и хваток, что выгодные заказы сами плыли им в руки, и заполучить его одушевленным талисманом, невзирая на множество недостатков личности, не отказался бы никакой здравомыслящий художник. Аугусто Тацци по одному ему ведомой причине выбрал в компаньоны мастера Ломи и частенько захаживал к нему теперь, приводя с собой приятелей и чувствуя себя здесь вполне уверенно: он сам помог синьору в приобретении дома, некогда принадлежавшего, опять же, кому-то из друзей самого Аугусто.

Возвращаясь с выполненным поручением синьоры, обязавшей отвезти письмо и посылку родственникам в Урбино, Алиссандро изрядно поплутал на незнакомых дорогах и приехал глубокой ночью, едва волоча от усталости ноги. Стало быть, лошадка его и подавно едва дышала после такого путешествия. Молодой слуга завел ее на конюшню, обтер на ощупь соломой взмыленные бока несчастной кобылки и на том все бросил, мечтая выпасться.

В доме было слишком тихо, и дабы не перебудить всех какой-нибудь неуклюжестью впотьмах, Алиссандро забрался на сеновал в самом дальнем углу конюшни, где она по задумке какого-то сумасшедшего архитектора сообщалась с подвальными комнатами усадьбы, которые сер Горацио использовал в качестве мастерской. Сон не заставил себя ждать и был так крепок, что отступил лишь поздним утром, когда все петухи уже открывали свое, а летнее солнце устремилось к зениту. Впрочем, Алиссандро спал бы еще, но голоса, что разбудили его, а вернее – один из этих голосов, загасили последнюю грезу, как сдувает сквозняком язычок свечного пламени. Это была... черт! это была Эртемиза, и они о чем-то спорили с отцом.

Алиссандро отгреб сено и осторожно, дабы не выдать своего присутствия, выглянул из-за лесов, громоздящихся у стены между студией и конюшней. В силу того, что мастерская находилась в подвале, слуга увидел все сверху, как на ладони. Высокая, в рабочей одежде с фартуком и подвязанными волосами, Эртемиза стояла ближе к подиуму для натурщиков, а синьор – возле своего мольберта, и говорили они о стати моделей, отбираемых позировать, равно как и о худобе самой синьорины. Отец убеждал ее следовать вкусам заказчиков, она – возражала:

– Но ведь это невозможно сделать без искажения, кому под силу так соврать и где найти такое зеркало?

На это Горацио отвечал:

– Зная законы телесного строения, можно и приврать для пользы дела.

– Но вы же сами всегда тщательно подбирали натурщиков, так к чему это было, если все настолько просто?

– Не спорь со мной, дитя, не спорь, и ты смогла бы делать то же самое, будь у нас лишние средства. А пока у тебя есть ты, и в твоём распоряжении тело, которым наградил тебя Господь. Сделать его другим ты не сможешь, поэтому, чтобы не потерять заказ, тебе нужно включить воображение и поменять себя уже на холсте.

Он схватил какой-то подрамник, затянутый перепачканным полотном – во всяком случае, Алиссандро решил, что намазанный там слой просохших темно-коричневых красок есть не что иное, как пачкотня, – и водрузил его на мольберт.

– Я покажу тебе, что это возможно. Разденься и сядь там, а я пока запру двери, чтобы никто сюда не вошел.

Алиссандро прикрылся локтем и фыркнул в рукав сорочки, прекрасно помня, как в былые времена по-хозяйски раздевала его она сама ради тех же целей. Теперь-то, душенька, ты побудешь в моей шкуре!

Вид на подиум открывался прекрасный. Алиссандро улегся поудобнее, опершись локтем на сено, и, грызя соломинку, приготовился стать зрителем интереснейшего спектакля.

С сомнением на лице Эртемиза разделась, но от растерянности закрыла скрещенными руками грудь, а ногу повернула так, чтобы спрятать лоно. Синьор Ломи бросил ей какую-то полупрозрачную ткань, всего лишь подобие одежды, но ее обрадовало и это. Кое-как завернувшись, она села. Ее гладкая девическая грудь так заманчиво просвечивала нежным белым сиянием через тонкий материал, что Алиссандро выплюнул соломинку и завозился, забыв о сведенном от голода желудке. Эртемиза не так уж чтобы пополнила за годы в монастыре, но откровенно повзрослела и обрела телесную завершенность, при взгляде на нее, лишенную покровов, соображать было трудно, в голове мутилось, а в паху ломило. У нее все так же была тонкая талия, стройные точеные ноги и прекрасные руки, а густые волосы, которые сер Горацио велел ей распустить, блестели черными волнами на фоне светлой кожи плеч и спины. Юноша, может, и хотел бы отвести от нее жадный взгляд, но не мог, а художник тем временем начал колдовать на отвернутом от него холсте.

– Вы говорили, что нашли для меня учителя, – сказала Эртемиза, постепенно привыкая к своей позе и расслабляясь, отчего тело обрело приметы грациозной чувственности.

– Да, бамбина, только Аугусто сейчас в отъезде. Я только утром узнал, что у него намечен выгодный контракт по росписи базилики в Неаполе, и его не будет несколько месяцев. Но это ничего, ты доработаешь «Мадонну» и поможешь мне кое в чем... Тебе удобно в мансарде?

А, значит, они поселили изгнанницу на чердаке! Ну что ж, это преграда для Карлитто, которого мамаша до сих пор еще не ушала на учебу в Падую, но торный путь для него, для Алиссандро, привычного забираться в окна, избегая тем самым бдительных взоров Роберты, чья комната со стратегической точностью располагалась у перекрестья всех коридоров, позволяя ей следить за всеми домочадцами, включая легкомысленных слуг и служанок. Ну очень уж хотелось ему без лишних глаз и ушей поболтать с Эртемизой о жите-бытье!

Синьор Ломи работал около часа. По мастерской разливался стойкий до отвращения запах лака, всегда вызывавший у Алиссандро желание прочихаться и сбежать, как всегда в таких обстоятельствах делают дворовые псы. Несомненно, он поступил бы именно так, сиди там, на подиуме любая другая натурщица – тихонько отполз бы в конюшню и отправился на поиски съестного.

Когда сер Горацио наконец объявил, что закончил портрет, Эртемиза поднялась и, прихватывая свою прозрачную накидку под грудь, шагнула к мольберту, где долго стояла, рассматривая работу отца. Везет же этим синьорам художникам: девок не надо уговаривать – те сами перед ними скидывают одежду! Зато перед остальными они артачатся до последнего, хоть и готовы на все, но лишь бы не оголяться; можно подумать, за это им выдадут индульгенцию, а утраченная когда-то девственность чудесным образом вернется...

– Это удивительно, – сказала наконец Эртемиза посмеивавшемуся отцу.

– И обрати внимание на светотень, это есть тенебризм Меризи, которому нужно следовать неукоснительно, если хочешь добиться такого же свечения в своих картинах, бамбина...

Вскоре они ушли. Снедаемый любопытством и очарованный обилием незнакомых ему слов, Алиссандро слез по лесам в мастерскую, несколько раз чихнул от лаковой вони и подобрался к мольберту синьора. Картина стояла, накрытая тканью от пыли и зевак. Колебался юноша недолго: стараясь быть как можно аккуратнее, он сдвинул покровы и уставился на творение сера Горацио. Никогда бы не подумал, что Эртемизу можно увидеть такой. На картине она прибавила и в весе, и, кажется, в возрасте, хотя черты лица мастер не исказил. Женщина

на холсте была старше синьорины Ломи лет на десять и толще раза в два, однако тело ее в точности так же, как у той, светилось юностью, а глаза сияли тем странным огоньком, происхождения которого никак не мог разгадать Алиссандро. Она выступала из темноты фона подобно гигантской жемчужине на бархатном подкладе шкатулки, ее хранящей, и в то же время не вызывала ни в душе, ни в теле его тех же чувств, что живая Эртемиза.

Постояв возле картины, молодой слуга задернул покрывало и пожал плечами. Если эта бабенка на самом деле во вкусе заказчиков синьора Ломи, то вкусы у них, надо сказать, дурные.

Тем временем в доме давали обед в честь приезда дядюшки Аурелио – он возвращался с похорон «генерала» Доменико Перруччи и по дороге заехал проведать родственников, помимо прочего узнав о вызволении любимой племянницы из монастыря.

– Неужели? – страшно огорчилась Эртемиза, когда дядя объявил печальную новость, и невидимый браслет снова слегка ужалил ее руку, а мачеха, вскинув бровь, окатила полным подозрения взглядом. – Генерал был таким хорошим...

Горацио тоже был удивлен:

– Разве ты знаешь этого солдафона?!

– Он бывал у нас в то время, когда Миза гостила в нашем доме, – спокойно объяснил дядюшка, обвивая своими толстыми и большими руками хрупкую племянницу. – Ну что, дорогая, ты наконец-то вырвалась на свободу?

Она кивнула, вспоминая генеральские истории о военных баталиях и особенно – не единожды поведанную синьором Перруччи сказку о прекрасной Флидас с Изумрудного острова, спасшей ему жизнь. Вместе с этим нахлынули и запахи, и звуки тех дней беззаботного легкого детства, шкатулки на комодике тетушки Орсола, гребешки и шпильки в руках кузин-близняшек, большое ровное зеркало, какое мог себе позволить не всякий художник, в кабинете Аурелио, куда она тихонько пробралась однажды и, запершись, в одиночестве разглядывала себя во весь рост без одежды: это был единственный случай такого везения, потому что заговорить об этом с дядей она почему-то стеснялась, хотя и понимала, что он не запретил бы ей пользоваться столь удобным для их ремесла приспособлением.

Поначалу отец держался с кузенком прохладно. Эртемиза не знала, что причиной тому был прошлый приезд дядюшки в их новый дом и его встреча, вернее даже – столкновение, с Аугусто Тацци и двумя его подвыпившими приятелями, которые вели себя здесь довольно развязно и шумно. «Гнал бы ты этих молодцев в шею», – посоветовал тогда Аурелио брату, чем и заработал неприязнь с его стороны. Более успешный Ломи-старший, которому не нужно было кормить столько ртов, мог позволить себе любую вольность и рвать выгодные, но морально обременительные деловые связи, а вот Горацио был лишен подобного выбора. Он и завидовал брату, и понимал его правоту – будучи неглупым, отец Эртемизы прекрасно осознавал, что собой на самом деле представляет Тацци, прозванный Аурелио козлоногим Сатиром, на которого действительно был похож и внешне, и своей похотливостью. Но, войдя в такое противоречие между здравым смыслом и рациональными доводами, Ломи-младший перенес свое раздражение на того, кто, как провинившегося щенка, ткнул его носом в неприятные факты.

Дядюшка делал вид, будто не замечает холодности брата, и поддерживал за столом неприужденную беседу. Постепенно отец оттаял, а разговор оживился. Они перемыли косточки каким-то Габсбургам, столь же часто упоминаемым нынче на всех углах, как истории о чуме (Эртемиза была слишком далека от политики, поэтому фразы о Габсбургах, о протестантах и прочих интригах ничего ей не говорили), а после перешли на искусство, ведь Аурелио был ко всему прочему завзятым театралом.

Пока дядя рассказывал о своем прошлогоднем путешествии в Англию, где все еще свирепствовал черный мор, из-за которого закрылось множество театров, а маски какого-то синьора Шекспира уже не имели прежнего успеха, постепенно выдавливаемые масками дру-

гого синьора, Бена Джонсона, Эртемиза поглядывала на сводного братца. Похоже, перед застольем Роберта провела с сыном душеспасительную беседу, и теперь Карлито тщательно прятал взгляд в своей тарелке, стараясь не поднимать глаз, чтобы случайно не увидеть свою беспутную сестру. Он стал уже совсем взрослым и еще более красивым, чем прежде, парнем, вот только мягкие безвольные губы выдавали его натуру с головой. Эртемиза подумала, что когда он женится – точнее, когда его женят, – то из-под каблука матери он перекочет прямым под каблук супруги, все так же не поднимая глаз. Ей почему-то не было жаль его, а вот к мачехе она и подавно испытывала уже почти ненависть. Ее еще не трясло при мысли о Роберте, но уже хотелось представлять себе во всех красках и подробностях, как та куда-нибудь падает и что-нибудь себе ломает, желательно челюсть: эти мысли рождали в сердце злорадное наслаждение.

А дядя с отцом, смеясь, уже обсуждали музыку, и Аурелио напел знакомый мотив, который слышал во время последней поездки в каком-то из венецианских дворцов. Эртемиза сразу же вспомнила Ассанту, большую поклонницу домашних опер – именно этот фривольный припев та однажды выводила на прогулке, рискуя навлечь на всех гнев смотрительниц, а потом сказала, что это сочинение венецианского композитора с очень знакомой фамилией, которая потом так и вертелась у Эртемизы на языке, но не вспоминалась. И ныне, услышав чуть фальшивящее пение дяди, девушка с внезапной легкостью ее припомнила, а заодно поняла, отчего она была ей так знакома:

– Это же Бернарди? – и слегка зашипела сквозь зубы от легкого, но жгучего укола над запястьем, как если бы ее хлестнули по руке веточкой крапивы.

Аурелио рассмеялся:

– Неужели и этому учат смиренных клариссинок?! Да, это Бернарди, самый молодой капельмейстер, который когда-либо жил в Венеции. Но... увы, увы, при всем своем таланте он мало успел.

– Он умер?

Ассанта этого не рассказывала, она лишь восхищалась его музыкой и, похоже, совсем мало знала о ее создателе.

– Да, кажется. Несколько лет назад. Или утонул, или что-то там еще... – синьор Ломи-старший сделал неопределенное движение кистью руки.

– А помните, покойный гене... синьор Перруччи рассказывал о Флидас Бернарди из Фамагусты?

– О-о-о-о! Ну еще бы, это ведь была любимая тема Доменико, когда он принимал на грудь. Он так любил эту сказку, что со временем и сам поверил в нее...

– Вы думаете, что история о той семье – это его выдумка?

– Знаешь, об умерших плохо не говорят, но будем все-таки честны перед собой: любил покойник приврать, любил... Однако ему простительно после такой контузии. Он хотел верить в чудеса... хоть все время и путал имя своей спасительницы.

– Да, он называл ее еще Фиоренцей!

Эртемиза и сама удивлялась, как легко всплывали эти имена и подробности из далекого детства, а еще где-то на фоне кипрских баталий по границе этого мира и ангельских чертогов золотой молнией несли прекрасный статный конь с дикими голубыми глазами и нервно подрагивающими ноздрями, навевая картины из жизни великого македонского царя...

– Что ты стоишь? – вдребезги разбивая волшебный флер воспоминаний дяди и племянницы, вмешалась Роберта, которой не понравилось, что Абра, заслушавшись хозяев, замерла у стола со своим подносом, так и не донеся до них сменное блюдо.

Служанка и Эртемиза вздрогнули от окрика, дядя же только вздохнул и отер ладонью бородку. Еще вчера, по дороге домой, бывшая послушница уговаривала себя не замечать нападок мачехи и не давать той повода упечь ее снова в какую-нибудь неопишемую глушь. Но сейчас норов Эртемизы опять не выдержал испытания, и сквозь зубы она процедила:

– Матушка, теперь, когда я вернулась, Амбретта снова стала моей дуэньей и не обязана подчиняться вам, если я не велю ей это делать. Отец, я ведь верно говорю? – не глядя на Горацио, но не сводя сверлящего взгляда с его жены, уточнила девушка.

Дядя спрятал улыбку в усы, отец тоже изменился в лице, но ему было не до веселья: он терпеть не мог женских склок. Ко всему прочему, ему пришлось кисло согласиться не с супругой, а с дочерью, ведь Эртемиза сама предложила ему для успокоения ходить повсюду в сопровождении компаньонки постарше, которая соблюла бы ее честь в случае, если бы кто-нибудь посмел на это покуситься. И это вынужденное согласие было чревато долгими и нудными жалобами жены, когда они останутся наедине. Чтобы как-то разрядить нависшую над столом грозную тучу, Аурелио спросил племянницу, помнит ли она их старое упражнение, заключавшееся в рисовании вслепую, когда они по очереди завязывали себе глаза и чертили каракули на бумаге, выполняя заказы друг друга, а потом хохотали над результатами. Эртемиза очень обрадовалась, когда он предложил ей после обеда потряхнуть стариной и повеселить публику в отцовской мастерской, даже Карлито осмелел и, пока его не видела мать, вскинул глаза на сестрицу.

Ближе к закату, проводив дядю, Эртемиза и Абра отправились осматривать окрестности, ведь юная синьорина ничего еще здесь не знала, хотя здешние места ей нравились куда больше прежних, где она выросла. «Впрочем, – добавила она, держа под руку служанку, – после этого монастыря мне понравилось бы даже в раскаленной пустыне среди львов и змей!» – и девушки расхохотались.

Они спустились к реке в одном из самых живописных местечек, где, вдоволь налюбовавшись противоположным берегом мутновато-зеленого Тибра с причалом и лодками, не таким диким, как по эту сторону, Эртемиза вытащила из-под передника темные листы бумаги и уселась рисовать. Конечно, не умея работать с пейзажем, она снова лишь испортит материал, но ей хотелось попробовать. Абра уселась рядом вышивать и рассказывать хозяйке о событиях прошедших лет, чем едва ее не усыпила. После долгой прогулки, да еще и надышавшись влажным ветерком с реки, Эртемиза вскоре ощутила острый голод, но уходить ей не хотелось. Тогда Абра вызвалась сбегать домой и принести пышек с молоком.

Вспоминая хохот домашних и осуждающе покачивавшего головой отца, Эртемиза подумала, что, быть может, есть смысл попробовать нарисовать этот пейзаж так же, как в игре с дядюшкой – с завязанными глазами? Кто знает, вдруг таким образом у нее получится лучше, чем под контролем строгого критика по имени зрение. Она сняла с головы тонкий платок, свернула его в несколько слоев и повязала на лицо, а потом, уже ничего не видя, повернула голову в направлении своего запястья. Как всегда, левую руку она разглядела во всех подробностях и с браслетом, невидимым просто так, а когда подняла ее, наведя ладонь на то место, которое собиралась зарисовать, то сначала сквозь растопыренные пальцы, а потом и вокруг них стали проступать подробности ландшафта. Но теперь она видела все так, словно это была уже готовая картина: с идеально выверенной компоновкой и только необходимыми деталями; вся остальная мелочь, прежде отвлекавшая взгляд, исчезла. Четкость вблизи переходила в размытость дали, покрытую леонардовской дымкой-сфумато. Прекрасно различался и лист бумаги, на которую нужно было перенести увиденное. И Эртемиза поскорее схватила за уголок.

– Ты так быстро вернулась! – услышав шаги и шелест травы, сказала она, а потом вспомнила, что, увлекшись работой, всегда теряет счет времени. Мысль о вкусных пышках заставила облизнуться. Девушка уже хотела попросить Абру покормить ее со своих рук, чтобы не прерываться в работе, как та сама шагнула к ней, взяв под локти, подняла с земли и прислонила к изогнутому над рекой стволу дерева. – Абра? Что ты делаешь? – недоумевая, улыбнулась тогда Эртемиза, однако сдернуть повязку та не позволила, придержав за кисти. – Что это за шутки? Ты...

И только ощутив аккуратное касание губ на своих губах, она узнала этот запах. Первое желание дернуться и освободиться внезапно пропало, голова закружилась, а поцелуй становился все более настойчивым и смелым, и Эртемиза подумала, что Ассанта была права – целоваться с тем, кто тебе по нраву, в самом деле приятно. Наверное, это была последняя мысль, посетившая ее в эти минуты.

– Сандро! – протестующе выдохнула она, когда крепкая и уверенная рука стянула платье с ее левого плеча, открывая грудь, а затем он принялся эту грудь ласкать – ладонью, пальцами, губами, языком...

Едва дыша и постанывая, Эртемиза слышала, как прерывается дыхание Алиссандро, и что-то сродни тому чувству, которое испытала, когда он прислал ей в монастырь засохшую веточку полыни, пронзило ее теперь, сделав ноги слабыми; внизу живота стало горячо и все сжалось, трепеща и каскадом растекаясь по телу в предвкушении никогда не испытанного. Она вяло попросила его перестать, сама того нисколько не желая, а когда он ловким и вполне умелым движением присобрал подол ее платья, даже подалась навстречу, прижимаясь крепче. Какие-то совсем уж невероятные ощущения пульсировали вдоль хребта: Эртемиза угадала, почему он отвлекся и завозился с какими-то позвякивающими ремешками, и вдруг браслет ожег ей руку и заставил вспомнить о служанке. Разом схлынуло все. Сдернув платок, она в гневе уставилась в темные, светящиеся в лучах закатного солнца глаза Алиссандро. До чего же он стал хорош за это время! По-настоящему хорош, не так, как безвольный Карлитто.

– Вы встречаетесь с Аброй, я не могу так обойтись с ней! Она мне друг! – запыхавшись и от былой страсти, и от вновь накатившего возмущения, выкрикнула Эртемиза ему в лицо. – Как ты можешь?!

Слуга даже растерялся, подбирая слова для ответа, а она тем временем раздраженно поправила одежду и, оттолкнув его прочь от себя, подняла с травы брошенный рисунок. Он лишь беззвучно ловил ртом воздух, пытаясь как-то изложить фразу в свое оправдание. И то верно: что он сейчас ни скажет, все прозвучит нелепо. Эртемиза даже знала наперед, что он может сказать – и встречается-то Абра не с ним одним, и он встречается не с одной Аброй, и вообще можно встречаться хоть с кем, а по-настоящему любить кого-то одного, – и прочую ерунду. Алиссандро и сам понял все это, посему готовые сорваться слова признаний и объяснений так и не прозвучали. Ведь она не шутила, не кокетничала и не притворялась.

– Прости, – сказал он наконец, сокрушенно опуская голову.

– «Прости»! – передразнила Эртемиза и гневливо сощурилась. – Вот почему вы все такие, а?

– Какие?

– Я не знаю... готовые предать друг друга, врать все время... Неужели это так приятно?

Он прищелкнул языком, досадливо выдохнул и встряхнулся:

– Ну прости! Я в самом деле... Да черт! Ну накажи меня как-нибудь, только не смотри так!

– Совесть? – сама того не желая, она не смогла сдержать улыбку.

Алиссандро глянул исподлобья:

– Совесть...

Эртемиза засмеялась и поворошила его жесткие черные вихры:

– Вот то-то же! И не смей обижать мою Абру! Узнаю – голову с плеч!

Он ласково, будто кот, поднырнул под ее ладонь:

– Как Юдифь?

– Смотри-ка, не забыл, распутник! Да, да, именно – как Юдифь. А ты Олоферн!

– Зови хоть Паном, только голову мне оставь, мона Миза!

И в знак примирения они слегка обнялись, но уже совсем не так, как обнимались несколько минут назад. Тем временем на тропинке показалась Абра с белым узелком и глиняным кувшином.

Глава одиннадцатая

Барджелло и Рианнон

В незапамятные времена дворец Барджелло был первой городской ратушей во Флоренции, резиденцией подесты и верховного магистрата, но на исходе прошлого века герцоги Медичи упразднили пост главы администрации. Таким образом, прекрасный средневековый замок, послуживший образцом при постройке Палаццо Веккьо, начал исполнять функции тюрьмы, во дворе которой производились казни, а в само здание был водворен глава городской полиции вместе со всем своим штатом. А сто лет назад здесь, к примеру, проходил процесс, на котором присутствовал Леонардо да Винчи, – тогда судили заговорщиков Пацци против Медичи.

Барджелло располагался к югу от Приюта в направлении реки Арно, и добираться от него до площади Сантиссима Аннунциата было далековато, однако же пристав Никколо да Виенна нередко заезжал к работавшему и жившему в тех краях приятелю, учителю вокала Шеффре. Знакомство их длилось уже лет пять, и иногда да Виенну приводило к нему не просто желание поболтать о том, о сем, но и необходимость профессионального совета, коим кантор уже не раз давал полицейскому важные подсказки для следствия – что, в общем-то, однажды свело вместе этих двоих непохожих друг на друга людей, а со временем и сдружило.

Вот и теперь пристав заглянул в Оспедале дельи Инноченти не ради развлечения.

– Простите, друг мой, что прерываю ваши занятия, – сказал он, открывая дверь в музыкальную комнату и отвечая кивком на почтительный поклон вскочившего на ноги ученика кантора, мальчишки лет десяти с утонченными чертами лица и поразительно яркими синими глазами; если таким и останется дальше, подумал Никколо, то, как показывает жизнь, наверняка вырастет эписин, но для музыканта это и недурно: должен же кто-то исполнять женские партии в операх.

Шеффре обернулся от окна, в которое выглядывал, слушая музицирование воспитанника. Увидев да Виенну, он широко улыбнулся и показал ему входить, и побыстрее.

– Это ничего! Дженнаро уже пора бы сделать перерыв. Да, и разбери, пожалуйста, ноты в том шкафу, не то у нас с тобой никогда не дойдут до них руки. Присаживайтесь, Никколо, я вас слушаю.

И когда мальчонка с готовностью забрался в шкаф, стоявший в дальнем углу комнаты, пристав уселся в кресло напротив кантора и извлек из кармана ту штуку, ради которой сюда явился. Шеффре не без интереса поглядывал на его руки, сжимавшие некий металлический предмет, но Никколо решил сначала рассказать предысторию:

– Этой ночью неведомый злоумышленник побывал на конюшне графа Баттифолле и увел оттуда его лучшего рысака... Что такое?

– Простите! – придавленным и каким-то девчачьим голоском пискнул Дженнаро, по неловкости грохнувший на пол целую стопку альбомов с пыльной полки. В глазенках его светился испуг.

– Не ушибся? – спросил Шеффре, и мальчишка отрицательно затряс головой. – Продолжайте, Никколо.

– Разумеется, в доме графа переполох, подняли на ноги весь Барджелло, тут же начали расследование. Ох, знали б вы, мой друг, сколько стоила эта скотинка! Ну так вот, беру я парней и идем мы с ними на конюшни. И там я обнаруживаю на песке вот эту вещичку...

Только тут да Виенна раскрыл ладонь, в которой лежал странный, отдаленно напоминающий большой ключ, с какой-то металлической плоской загогулиной на верхушке предмет из полированного металла со следами ковки.

– Мы опросили всех слуг. Никто не признал в ней свою собственность, да что там – даже сами Баттифолле не имеют представления о том, что это такое. Но! Уже в управлении один из тюремных надзирателей предположил, что это какое-то музыкальное устройство. Поэтому я и решил навестись к вам за консультацией. Вот, взгляните.

Шеффре взял протянутый ему предмет и повертел перед глазами:

– Это тромбола.

– Что это такое?

– Музыкальный инструмент, ваш надзиратель был прав. Он, возможно, из крестьян?

– Да, кажется. Да. А как вы поняли?

– Тромболу любят в простонародье.

– И... как же ее используют?

Кантор поднялся, из кармана висящего на спинке кресла синего кафтана вытащил платок, который тут же и смочил водой из кувшина, что стоял на его рабочем столе. После этого он тщательно протер замысловатое устройство, встряхнул его и сунул в рот, оставив с правой стороны губ заостренную часть с пластинкой-загогулиной. Усмехнувшись и приспособиваясь, Шеффре мягко провел пальцами по свободной стороне тромболы. Устройство издало заунывный вибрирующий звук, отдаленно напоминающий человеческий голос. Никколо тут же узнал его:

– А, так вот что за инструмент играет эту музыку! Сколько раз слышал и не подозревал, что это такая невзрачная малышка. И как вы считаете, Шеффре, кем может быть наш клиент?

Тот безразлично пожал плечами, продолжая наигрывать потустороннюю, навевающую тревогу и одновременно очаровательную мелодию без мелодии. Иногда звуки тонко и стремительно взлетали под высокие своды расписного потолка, иногда тяжело припадали к полу, рыча и подражая мужскому голосу, как если бы кто-то извлекал его из горла без посредства языка. Глаза Шеффре сделались задумчивыми: они все темнели и темнели, пока не обрели синий оттенок его камзола и кафтана. Да Виенна покосился на ученика. Вместо того чтобы выполнять поручение учителя, тот остолбенело замер с пыльной тряпкой в руке и не подавал никаких признаков жизни, словно мраморная статуя.

– Что ж, исходя из того, что, как вы сказали, тромболу любят в простонародье, можно полагать, что наш злодей откуда-то из низов? Я верно мыслю, друг мой?

Кантор повел темными и густыми, с красивым изломом, бровями, как бы ничего не подтверждая, но и не отрицая. Во всяком случае, так трактовал его мимику пристав.

Дженнаро была близка к настоящей панике вроде той, что случалась с нею на канате после счастливого избавления от смерти. Когда во время ее попыток сыграть гамму на клавишине в комнату для музицирования заглянул вдруг приятель учителя, полицейский пристав, девочка, уже встречавшая прежде этого невысокого пышного и розовощекого синьора в компании с кантором, не обеспокоилась и по мере способностей отвесила ему приличествующий поклон.

Толстячок подсел к маэстро Шеффре, и, убираясь в шкафу, Джен услышала его весть о конокрадстве. Сердце ёкнуло и не ошиблось. Выронив с перепугу пачку нотных альбомов себе под ноги, она увидела в руке синьора да Виенна варган Растяпы Пепе, и ей сразу вспомнились слова покойной бабушки Росарии: «Когда-нибудь этот гаджо подведет под монастырь весь табор, помяни мое слово (дава тукэ миро лаф)!». Джен, конечно, покинула их, но ведь среди рома осталось много людей, любимых ею до сих пор. И теперь нет уже на свете гневливой Росарии, которая отходила бы этого глупца бабьей юбкой по щекам, после чего Пепе на много дней был бы заказан путь в табор, до полного очищения. Отныне ему никто не указ: чего хочу, то и ворочу.

Остолбенева, Джен стояла с тряпкой в руках, а в голове ее металась одна-единственная перепуганная мысль: «Что делать? Что делать?» И тут маэстро заиграл на варгане Пепе, да так, как сам Растяпа отродясь не умел. Все отошло на задний план и постепенно растворилось в дыме ритуальных костров...

«Повсюду жгли костры, призывая небесное благословение. Огни бога Белена горели так ярко и обильно, что ночь исхода второго месяца весны была светлой.

Совсем еще юный, Дайре, скрестив ноги, сидел на траве и играл на вистле, выдувая из него мотив задумчивый и протяжный – под стать истории, которую рассказывала Этне. В руках ее опьяняюще нежно похрустывала соломка, сплетаемая в узоры солнечного гимна, и Тэю от звуков тихого голоса, дудки Дайре, от шелеста сухих прошлогодних стеблей и влажной свежей травы, от потрескивающего в огне валежника неизбежно клонило в сон. Удобно уложив голову на его колени, маленькая Тэа глядела в звездное небо, чуть затянутое дымкой многочисленных костров. Было ей в тот Белтейн лет семь, Этне – вдвое больше.

Где-то вдалеке лаяли собаки, разгоняя таинственное эхо дудочки, и Тэе мерещилось, что это красноухие борзые Своры Аннуина, увлекшие короля Пуйла во владения чародея Арауна из предания Этне, примчались на дикую охоту.

– Однажды, после возвращения из Аннуина, Пуйл был в своем главном дворце в Арберте и решил прогуляться на вершину зачарованного холма Горседд. Поговаривали, что взошедший туда вельможа непременно увидит какое-нибудь волшебство или же будет зачарован навеки. Но уже встречавшийся с колдовством, когда целый год прожил в Аннуине и обменялся телами с тамошним королем Арауном, теперь Пуйл не страшился ничего. Вместе со своей свитой он поднялся на вершину Горседда, но едва это случилось, по дороге, ведущей мимо холма, медленным шагом, верхом на белоснежном скакуне проехала женщина в золотых одеждах. Лица ее никто не разглядел, ведь она была далеко, да и голову ее прикрывала накидка, однако король Пуйл стал почему-то уверен, что эта женщина прекрасна...

Невдалеке от них троих в землю вкапывали йольский еловый ствол и привязывали к его верхушке белые и красные ленты, чтобы потом в хороводе оплести ими уже майский шест желаний. Разморенная после дневной беготни, Тэа лежала на колене Дайре и лениво следила за сородичами, а Этне, сплетая соломенные узоры солнца, продолжала свою историю:

– Он хотел догнать незнакомку на белом коне, но чем скорее ехали они со слугами, тем дальше от них оказывалась она, хотя скакун ее не прибавлял шагу. Тут и догадался Пуйл, что стали они свидетелями чародейства, а догадавшись – остановил своего коня. Свита же проскакала мимо. И тут из-за кустов к нему выехала женщина в золотом убранстве...

Дайре вдруг оборвал игру, фыркнул и рассмеялся.

– Ты чего? – недоуменно вскинула голову Этне.

Вместо ответа он указал подбородком на подростков, а те окончательно запутались в лентах майского шеста и едва не повалили его на землю. Тэа захихикала вместе с Этне, но больше всего ее развеселило лицо Дайре: тогда он был еще по-мальчишески забавным, со вздернутым носом, который смешно морщил при смехе, вихром густых темных волос на лбу и озорными глазами. Будучи младше него, Этне казалась взрослее и серьезнее, но сейчас не утерпела и она. Тэа валялась в траве, дрыгала ногами и чувствовала себя самой счастливой на свете. Она пока не знала, что случится с ними через шесть весен.

Столб наконец установили, ленты повязали, а Этне продолжила свой сказ:

– «Мое имя Рианнон», – представилась Пуйлу незнакомка в золотом убранстве и отбросила вуаль с лица. Король оторопел от ее красоты: он многих женщин повидал, но такую красавицу встретил впервые. И совсем забыл Пуйл о предупреждении – если на холм Горседд взойдет вельможа, он будет или зачарован, или увидит волшебство. И не знал он, что с ним произошло то и другое, хотя покровительница лошадей Рианнон, дочь Хэфайдда Старого,

и в самом деле была хороша собой, точно богиня Эпона. Не удивили его и две птицы на ветвях, имевшие тела сов и людские головы. «Это телохранители мои, – беспечно махнув рукой, сказала принцесса. – У меня есть к тебе дело, Пуйл. Отец хочет выдать меня за ненавистного мне человека. Но по судьбе мне предсказан ты, и я не желаю становиться женой красивого, но пустого и глупого Гуала. Если ты посватаешься ко мне раньше него, отец с радостью согласится на нашу с тобой свадьбу». И они сговорились, что Пуйл приедет в их дворец и попросит руки Рианнон...

Дайре тем временем учил Тэю дудеть на своем вистле, и отрывистые, нескладные звуки накладывались на историю о том, как приехавший в дом Хэфайдда Старого король Пуйл был обманут ненавистным невесте Гуалом, пообещав исполнить его просьбу еще до того, как тот назвал свое имя. А Гуал между тем не растерялся и посватался к Рианнон, раздосадовано пенявшей Пуйлу за его недалекость, однако дело было сделано, и идти на попятную недостойно королей. Раскричались домашние птицы принцессы, чуя беду, в страхе за свою хозяйку, а два верных телохранителя, уже в человеческом облике, но теперь с совиными глазами, изготовились выхватить спатхи, если Рианнон будет грозить опасность со стороны враждующих гостей.

«Пусть будет так, – вдруг сказала она и вышла, сделав Пуйлу знак следовать за нею, и в саду поделилась с ним тайным планом: – Я не пойду за сына Клида, и ты мне в этом поможешь. Держи эту пастушескую суму – с ней ты приедешь в наш дворец через год, переодетый нищим, и явишься на пир. Твои воины пусть останутся здесь, в саду, в засаде»...

«Но это недостойно!» – возразил король Пуйл.

Рианнон метнула в него разгневанный взгляд:

«Рианнон лишь зеркало человеческих поступков. Улыбнись ей – она улыбнется тебе в ответ. Плюнь ей в лицо – и сам утрешься от плевка. Гуал поступил подло, владелец тучных стад, он привык получать за свои богатства все, чего пожелает, по первому требованию, а если нет – то хитростью и обманом. Но Рианнон не овца для его отары! Ты явишься на пир и попросишь милостыню. Я возьму на себя Гуала и сделаю так, что ему стыдно будет отказать нищему на глазах у всех придворных. На его вопрос, чего ты хочешь, ответь, что желаешь лишь наполнить эту торбу едой и убраться отсюда. Но это заколдованная торба, она бездонна. Пусть его слуги пытаются наполнить ее, остальное я сделаю сама, главное, чтобы твои воины оставались в засаде до тех пор, пока ты не дашь знак».

И целый год король Диведа томился в догадках, что же задумала его прекрасная и коварная возлюбленная. Когда же наступил назначенный день, он взял торбу, приказал воинам по приезде спрятаться в саду дворца Хэфайдда Старого и в нищенской одежде пробрался на пир.

Невеста мрачнее тучи сидела рядом с Гуалом, но при виде Пуйла лик ее расцвел, и одним этим она могла бы выдать себя, да только жених был слишком занят возлияниями.

«Чего тебе нужно?» – ворчливо спросил он лже-нищего.

«Я прошу у вашей милости подаяния, – изменив голос, проговорил Пуйл и показал суму. – Наполни эту торбу едой, чтобы мне было чем накормить мою семью!»

«В самом деле, – вмешалась Рианнон, – неужели вы откажете несчастному, мой господин? Вы столь богаты и великодушны, пусть же все знают, что ваше благосостояние не мешает вашему сердцу! Накормите этого нищего и его детишек!»

Гуал махнул рукой слугам, и те бросились выполнять приказ. Однако все, что ни попадало в суму, тут же исчезало, и наполнить ее не получалось. Видя такое дело, Гуал, сын Клида, возмутился:

«Да он мошенник!»

«Нет, мой господин, – проворковала Рианнон, поглядывая в сторону Пуйла прекрасными лукавыми глазами. – Я знаю эту магию, он не виноват, что ему подсунули зачарованный

мешок, – иного же у него нет. Но мне известно, как можно сделать сумку полной: в нее должен встать самый богатый и знатный вельможа из всех собравшихся и придавить своими ногами брошенную туда еду. В этом случае колдовство будет бессильным».

Чванливый Гуал не пренебрег возможностью лишний раз показать себя и, растолкав хмельных гостей, вступил в торбу. Тотчас же маленькая скромная сумка сделалась огромным черным червем, и, заглотив Гуала, чудовище сомкнуло полную зубов пасть у него над головой. Лишь сдавленные крики слышались из его брюха, а затем червь снова стал невзрачной маленькой торбой. Свита жениха попыталась вмешаться, но тут в пиршественный зал вбежали воины Пуйла, а сам он скинул нищенские лохмотья, и все узнали в нем короля Диведа. И сказала Рианнон:

«Он будет отпущен при том условии, что навсегда отречется от меня и откажется от мести Пуйлу!»

Гуал стал браниться в мешке, тогда один из воинов Пуйла стукнул торбу ногой, второй спросил: «Кто это там?», а третий ответил: «Барсук!» И до тех пор, пока Гуал не прекратил ругательства, свита короля Диведа продолжала игру в «барсука». «Хорошо, мы согласны! – вмешался наконец отец Рианнон. – Замолчи, Гуал!» Тогда выкрики из торбы прекратились, и потрепанный Гуал был выпущен на свободу. Но Хэфайдд Старый не простил дочери самовольства и проклял ее на много поколений вперед: «Как ты, так и все потомки твои будут терять своих детей до скончания веков!»

Проклятие сбылось: три года не было у четы наследников. Возроптали подданные Пуйла, и советники стали у него требовать расторжения брака с бесплодной женой. Король и слышать не желал таких речей, однако видел, как, подслушав переговоры, с окон взлетели две совы. Не прошло и четверти часа, как на пороге зала возникла Рианнон.

«Вам нужен наследник? Он увидит свет через семь лун», – сообщила она, пристально глядя на Пуйла.

Все свершилось по слову ее. Дитя Рианнон родилось в самом начале последнего месяца весны, и усталая мать, поцеловав златовласого сына, уснула глубоким сном, оставив младенца на попечение нянек.

Среди ночи тревожно закричали птицы в комнате, но зеленоватый сумрак, приглушая все звуки, залил пространство. Няньки увидели только странную фигуру в темно-красной тоге и синем плаще на плечах, а глаза незнакомца светились ядовитой зеленью. Из-за спины его выполз гигантский черный червь и протянул когтистую лапу к колыбельке. Одна из нянек вскрикнула от ужаса, но незнакомец перевел на нее удивленный взгляд, проговорив голосом тихим и вкрадчивым: «Ночью куры спят!» – и она повалилась без чувств вослед за своими подругами. Наутро все они проснулись, но не нашли ребенка. Перепуганные, женщины поняли, что никто не поверит их рассказам про ночного чародея, и сговорились подбросить в колыбель косточки убитого щенка, а спящую Рианнон перемазать его кровью. Как решили, так и сделали. И хотя королева не признавала своей вины, няньки убедили всех в ее злодеянии. Их было шесть человек против одной. Пуйл тоже не верил в преступление жены, однако ненавидевшие ее советники настояли на выносе приговора, и звучал он так: отныне она останется в замке в Арберте не в качестве королевы, но в нищенском рванье сидя у каменной глыбы при городских воротах, и на протяжении семи лет будет рассказывать каждому проезжавшему об убийстве сына, а тех, кто пожелает въехать в город, будет обязана везти до самого замка на своей спине. И вместо того чтобы спорить с несправедливым решением судей, Рианнон согласилась на унижительное наказание, по-прежнему не веря в смерть младенца. Пуйл был бессилен что-то изменить. В то время как требовать развода правителя советники не имели полномочий, ведь по уговору наследник должен был родиться и родился, отозвать приговор, оглашенный ими после разоблачения убийцы, не мог уже он. «Ничего, – сказала ему Рианнон, – просто забудь обо мне на эти семь лет». И пряно-терпкий запах придорожной полыни затмил его память».

...Дженнаро очнулась, а оборвавшееся дребезжание тромболы все еще звучало в ее ушах:

– Сер Шеффре, я могу идти? – нерешительно спросила она, топчась с тряпкой на месте.

Последний зеленый всполох растаял в его прозрачных глазах. Синьор да Виенна, кажется, удивился, услышав ее, словно минула целая вечность.

– Конечно, – голосом тихим и вкрадчивым ответил кантор.

Швырнув тряпку на ноты, Джен сорвалась с места и в считанные минуты была уже далеко от площади Сантиссима Аннунциаты.

– Прыткий жеребенок, – только и заметил пристав вслед захлопнувшейся двери.

Задышавшись, она бежала к бакалейной лавке в надежде, что снова увидит там Шукар с младенцем на руках и вытанцовывающим ради подаяния старшим сыном, от которых пряталась еще вчера. К счастью, Шукар сидела на прежнем месте, у самой канавы, кормя младшего ребенка грудью, Баhti же выделывал ногами кренделя перед двоими художниками (в руках те несли натянутые на рамы холсты, а из висящих на плече у каждого сумок торчало множество кистей и еще каких-то незнакомых приспособлений). Дождавшись, когда господа пройдут, Джен вывернула из-за угла дома и поскорее подскочила к Шукар.

– Лачё дывэс, Шукар!

Та вскинула голову:

– А, Дженнаро! Какой ты молодец! Тц-тц-тц! А одет-то как богатый! Лачё дывэс!

– Тетя Шукар, я сейчас очень важное вам скажу. Вам уехать нужно. Пойдите и передайте всем ром баро табора, что полиция ищет Пепе. Вчера ночью он увел у богатеев дорогого жеребца, и полиция нашла его варган. Хороший полицейский, очень умный полицейский нашел, он обязательно поймает Растяпу. Но тогда накажут весь табор, тетя Шукар. Это большой вельможа! Вам надо вернуть коня на место.

Шукар выслушала ее с открытым ртом и вскочила на ноги:

– Вот же!.. Да благословит тебя господь, чаворо! Баht тузэ! Ох и дурак этот Пепе! Ох и дурак! Баhti, идем скорее!

Когда маленький цыганенок пробежал мимо, Джен успела сунуть ему в руку монетку и скрыться в темноте узенького проулка между домами.

Глава двенадцатая

Обещанная перспектива

Впервые заметив новую рисовательную манеру дочери, Горацио Ломи был изумлен и даже рассержен. Что за новости, возмущался он, что за вольности – писать картину без эскизов мог позволить себе лишь Микеланджело Меризи! *Quod licet Iovi, non licet bovi*, восклицал художник, глядя на Эртемизу, которая стояла перед ним, потирая левое запястье и ничего не говоря в свое оправдание. И хуже всего было то, что компоновка на полотне у нее вышла идеальной, к ней попросту невозможно было придаться, чтобы доказать, насколько это неправильный подход. Ей просто повезло в этот раз, но это случайность, от которой необходимо предостеречь будущую продолжательницу семейного дела, если, конечно, она желает таковой оставаться.

Эртемиза смиренно склонила голову и пробормотала, что впредь непременно будет следовать повелению батюшки, после чего Горацио успокоился и даже похвалил ее за очередную Мадонну, собственноручно подправив кое-какие неточности, но более не критикуя. Монастырское воспитание очевидно пошло ей на пользу, что и говорить! Никогда прежде девчонка не была такой покорной и сговорчивой.

Проводив взглядом уходящего отца, девушка сделала страшные глаза смеющемуся альрауну, который копировал выступление отца у того за спиной, будучи похожим на уродливый кабачок с кривыми лапками. В ответ карлик высунул раздвоенный язык, дразня Эртемизу, спрыгнул с ниши в стене и провалился сквозь пол.

С тех пор она всегда на скорую руку делала наброски задуманной картины и отдавала их отцу, сама же более к ним не возвращаясь, поскольку, стоило ей прикрыть глаза и внутренним зрением разглядеть браслет Артемиды на своей приподнятой руке, сюжет сам складывался на заднем плане. Дело за малым – нужно было только прописать фигуры и лица натурщиков. Эртемиза рассаживала и расставляла их сообразно увиденной композиции, удивляя своей решимостью и безошибочным чутьем не только подмастерьев отца, но и его самого.

По настоянию мачехи Горацио поставил перед дочерью более строгие условия, чем в старом доме. Теперь она могла выйти на прогулку с дуэньей только в определенные часы, затем проводила время на занятиях в его мастерской и после этого, с первыми сумерками, отправлялась на свой чердак, где устроила себе очень уютную комнату, разгороженную пополам: в одной части это была ее собственная мастерская, в другой – милая девичья спальня со всеми полагающимися юной особе приметами. Уж настолько ей надоела серая келейная жизнь, что теперь Эртемиза была готова даже на изощренные украшения в стиле обожавшей все модное и пышное Ассанты. Хотя, конечно, до напудренных париков дело не дошло, у отца попросту не было бы на них денег. Кроме того, по вечерам девушка услаждала себя музицированием, отдаваясь этому занятию не один час. Правда, мало кто знал, что этим она услаждает скорее собственную потребность насолить Роберте, вынужденной из-за близости их комнат слышать душераздирающие звуки гораздо громче других домашних. Ради нее юная лютнистка старалась играть как можно фальшивее, а затем жаловаться за столом, что ей фаталистически не везет овладеть музыкальным искусством. Страдая мигренью, мачеха жаловалась мужу, но разве тот мог запретить дочери невинное и даже полезное занятие? И тогда Абра подобострастно предложила госпоже отвлечь свою подопечную, если Роберта не возражает ее посещению мансарды. Нет, нет, конечно же, Роберта не возражала! Роберта даже согласилась немного повисить жалование доброй и услужливой Амбретте, чтобы та навсегда избавила ее от этой какофонии, лившейся сверху по вечерам! Роберта была так признательна ей за создавшуюся тишину...

И пока жена отца пребывала в полной уверенности, что девушки сидят в мансарде и занимаются рукоделием, те впускали через окно забравшегося по дереву и перепрыгнувшего на крышу Алиссандро и тихонько болтали весь вечер и обо всякой ерунде, и о серьезном, а изредка Абра заводила какую-нибудь старую страшную сказку своей прабабки, на которую отовсюду сползались альрауны, слушавшие с удовольствием и даже без хихиканья. Эртемизе нравилось рисовать то ее, то Сандро, то их обоих, а иногда она шутки ради изображала портрет кого-нибудь из «страхолюдов», которые и в самом деле были похожи на чудовищ из прабабкиных историй. После, рассматривая рисунки, Абра качала головой и называла хозяйку выдумщицей из выдумщиц, а Сандро незаметно от подружки кидал красноречивые взгляды на саму Эртемизу, однако та делала вид, будто не понимает его намеков, и после ухода дуэньи неизменно запирала за ним окно. Если когда-то давно он был просто задорным жеребчиком, которого можно было осадить и поставить на место, то с течением времени молодой слуга все больше превращался в сильного и грубовато-привлекательного мужика, сдержать которого будет не так просто, если он слишком уж разойдется, несмотря на все свои уверения и просьбы «лишь о парочке невинных поцелуев». По рассказам Ассанты Эртемиза была хорошо наслышана, чем заканчиваются такие поцелуи, да и прошлая их встреча один на один у реки не шла из памяти, хотя и навевала очень приятные чувства. Вот именно эти чувства и пугали ее: она знала, что не устоит и сама, поскольку Алиссандро и в самом деле был для нее кем-то значительно большим, чем слуга или просто общий приятель. Поэтому девушка упорно соглашалась на общение с ним лишь в присутствии третьего лица, при ком он не посмел бы выдать себя ни взглядом, ни словом, ни намерением, а Сандро с не меньшим упрямством пытался перехитрить ее и услать куда-нибудь помеху в виде дуэньи. Однажды Эртемиза зазевалась, и ему это удалось – Абра ушла наполнить так неловко разлитый им кувшин с водой, да еще и в то время, когда всем хотелось пить от ужасной жары и духоты. А он сам остался вытирать мокрые пятна на полу и на комод.

– Мона Миза, ну право же, ты более жестока, чем мясник с нашего рынка! – едва дуэнья за порог, со смехом сказал Алиссандро, разваливаясь на красиво застеленной кровати, когда промокнул все подтеки из опрокинутого кувшина.

Эртемиза обернулась и с досадой бросила уголь на столик:

– Что ты за человек?!

Сандро потянулся. Прекрасно понимая, что все равно не успеет даже пощекотать ее, он только зевнул и откинулся на спину:

– Ну я не знаю, другим этот человек вроде нравится. Еще никто пока не жаловался...

Она проглотила готовый сорваться с губ ответ, хотя в первый миг хотела отбрызнуть наглеца какой-нибудь вздорной фразой о секретах, поведенных ей Аброй. Уж слишком фривольно прозвучали бы откровения дуэньи из ее уст, да еще и в адрес того, кто был их главным героем.

– Убирайся с кровати! – буркнула она. – Иначе ты больше никогда не войдешь в эту комнату!

Тогда Алиссандро скроил такую физиономию, что никакая девица не устояла бы перед его немой мольбой, и поднял указательный палец:

– И всё, и я отстану, клянусь!

Эртемиза дернула с ноги туфлю, со всей силой, точно в бесстыдного кота, швырнула ее в слугу, и крикнула:

– Пошел вон с кровати, иначе я все скажу Абре!

Поймав обувь на лету, он поднялся, поставил ее на пол возле хозяйки, а потом с деланной почтительностью поклонился, и вовремя: в комнату как раз входила дуэнья с водой.

– Абра, а ты знаешь Священное Писание? – спросил Сандро.

Девушка удивленно поглядела на него и на пунцовую от ярости Эртемизу:

– А что?

- Там была история о неверующем Фоме. Расскажешь?
- Мона Миза может прочесть ее нам в Библии так, как она там написана.
- Недоверчивая мона Миза, вы могли бы прочесть нам о Фоме? Это мое любимое место в Писании. Если бы я умел читать, то перечитывал бы его на завтрак, обед и ужин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.